



РЭЙ В МГНОВЕНЬЕ ОКА
я не создаю эти рассказы:
наоборот, они создают меня.
РЭЙ БРЭДБЕРИ

БРЭДБЕРИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Рэй Дуглас Брэдбери
В мгновенье ока (сборник)
Серия «Интеллектуальный бестселлер»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=125631
Брэдбери Р. В мгновенье ока: рассказы: Эксмо, Домино; Москва, СПб; 2010
ISBN 978-5-699-43300-1
Оригинал: RayBradbury, "Quicker than the Eye"
Перевод:
Елена А. Петрова

Аннотация

Великий мастер, которому в этом году исполняется 90 лет, зачаровал миллионы читателей во всем мире и каждой своей книгой доказывает, что Музе неважен возраст того, кому она поклялась в верности.

Сборник рассказов «В мгновенье ока» с блеском демонстрирует весь творческий диапазон кудесника Брэдбери: от теплой человечности, сентиментальности в лучшем смысле этого слова до густо замешенной на черном юморе трагикомедии.

Содержание

Доктор с подводной лодки	4
Пять баллов по шкале Захарова – Рихтера	13
Помнишь Сашу?	19
Опять влипли	25
Электрический стул	31
Прыг-скок	35
Финнеган	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Рэй Брэдбери

В мгновение ока

Донну Олбрайту, моему «золотому ретриверу», с любовью¹¹

Доктор с подводной лодки

Этот невероятный случай произошел во время моего третьего визита к психоаналитику-иностранцу по имени Густав фон Зайфертиц.

Еще до того, как прогремел тот загадочный взрыв, мне следовало бы обо всем догадаться.

Недаром психиатр носил странное, вернее сказать, иностранное имя, как, кстати, исполнитель роли верховного жреца в кинокартине 1935 года «Она»¹² – высокий, поджарый красавец со зловещим, конечно же орлиным профилем.

В фильме «Она» этот великолепный злодей шевелил костлявыми пальцами, извергал проклятия, вызывал желто-зеленое пламя, лишал жизни рабов и насылал на мир землетрясения.

После этого, уже «на свободе», он разъезжал в трамвае по Голливудскому бульвару, невозмутимый, словно мумия, и безмолвный, как одинокий телеграфный столб.

О чем это я? Ах да!

Для меня это был *третий сеанс*. В то утро психиатр позвонил мне сам и завопил:

– Дуглас, черт тебя дери, сукин сын, ты собираешься на кушетку или нет?

Имелось в виду не что иное, как ложе позора и унижения, на котором я корчился от предполагаемого комплекса еврейской вины и северо-баптистского стресса, тогда как психоаналитик время от времени бормотал себе под нос: «Махровый бред!», или «Идиотизм!», или «Убить тебя мало!»

Как видите, Густав фон Зайфертиц был весьма необычным специалистом по *минным полям*. По минным полям? Да-да. Твои проблемы – это минные поля у тебя в голове. *Шагай* по ним вперед! Военно-шоковая терапия, как он сам однажды выразился, с трудом подбирая слова.

– Блицкриг? – подсказал я.

– *Ja!* – отозвался он с акульей ухмылкой. – Точно!

Итак, я в третий раз посетил его своеобразный, обитый металлом кабинет с округлой дверью, запиравшейся на немыслимую систему замков. Я брел, пошатываясь, над темной пучиной и вдруг почувствовал, как доктор окаменел у меня за спиной. словно в предсмертной судороге, он втянул в себя воздух и тут же выдохнул его с таким воплем, от которого у меня волосы поседели и встали дыбом:

– Погружение! Погружение!

Я погрузился.

Опасаясь, что кабинет вот-вот столкнется с гигантским айсбергом, я скатился на пол, чтобы в случае чего забиться под кушетку на львиных лапах.

– Погружение! – выкрикнул старикан.

– Погружение? – шепотом переспросил я, глядя снизу вверх.

И увидел, как надо мной поднимается, исчезая в потолке, перископ субмарины, поблескивающий надраенной медью.

Густав фон Зайфертиц словно не видел ни меня, ни потертой кожаной кушетки, ни исчезнувшего медного агрегата. Совершенно хладнокровно, как Конрад Вейдт в «Каса-

бланке»^{3} или Эрих фон Штрохайм, дворецкий в «Сансет-бульваре»^{4}... он... закурил сигарету, и в воздухе зазмеились каллиграфические письма (его инициалы?).

– Итак, ты сказал?... – произнес он.

– Нет, – возразил я с пола, – это вы сказали. Погружение?

– Я такого не говорил, – фыркнул он.

– Извините, но вы ясно сказали: погружение!

– Не может быть. – Из рта у него снова вырвалась пара затейливых струек дыма. – У тебя галлюцинации. Почему ты уставился в потолок?

– Да потому, – ответил я, – что в потолке пробит люк, если, конечно, это не очередная галлюцинация, а за ним спрятан девятифутовый медный перископ немецкой фирмы «Лейка»!

– Послушать только, что несет этот юнец, – процедил фон Зайфертиц, обращаясь к своему альтер эго^{5}, которое неизменно присутствовало на его сеансах в качестве третьего участника. Как только доктор переставал обливать меня презрением, он принимался бросать ремарки себе самому. – Сколько порций мартини ты влил в себя за обедом?

– А вот этого не надо, фон Зайфертиц. Я пока еще не путаю сексуальные фантазии с перископом. Ровно минуту назад потолок заглотил длинную медную трубку, верно?!

Фон Зайфертиц взглянул на свои огромные часы весом с фунт, понял, что обязан уделить мне еще полчаса, со вздохом бросил сигарету на пол и затоптал начищенным ботинком, а потом щелкнул каблуками.

Вам доводилось слышать звук мяча, отбиваемого настоящим профи, таким, например, как Джек Никлаус^{6}? *Бамм!* Ручная граната!

Именно такой звук издали штиблеты моего германского друга, когда он щелкнул каблуками в знак приветствия.

Кр-р-рак!

– Густав Маннергейм Аушлиц фон Зайфертиц, барон Вольдштайн, к вашим услугам! –

Он понизил голос. – *Unterdersea*-лодка^{7}...

Я думал, он скажет «Doktor». Но нет:

– *Unterdersea*-лодка; командир.

Собрав последние силы, я поднялся с пола.

Еще раз *Кр-р-рак!* – и...

Перископ как ни в чем не бывало заскользил с потолка вниз; такой безупречной фрейдистской сигары я не видел ни до, ни после.

– Такого не бывает, – вырвалось у меня.

– Я тебе когда-нибудь *лгал*?

– Сто раз!

– Ну уж, – он повел плечами, – разве что самую малость, для пользы дела.

Шагнув к перископу, он рывком опустил две рукояти, зажмурил один глаз, другим жадно припал к окуляру и стал медленно обшаривать видеоискателем кабинет, кушетку, а потом и меня.

– Первая, огонь! – раздалась команда.

Вроде бы я даже услышал пуск торпеды.

– *Вторая*, огонь! – приказал он.

И в бесконечность устремился еще один неслышный, невидимый снаряд.

Меня швырнуло на кушетку, словно от прямого попадания.

– У вас, у вас! – бессвязно повторял я. – Это! – Мой палец ткнул в сторону медного прибора. – Тут. – Рука хлопала по кушетке. – Почему?!

– Сидеть, – скомандовал фон Зайфертиц.

- Сижу.
- Лежать.
- Что-то не хочется, – выдавил я.

Фон Зайфертиц повернул перископ так, чтобы видеоискатель, зафиксированный под углом, глядел на меня в упор. В этой остекленелой холодности сквозило зловещее сходство с ястребиным взглядом самого хозяина.

Голос, звучавший из-за перископа, отдавался эхом.

– Надо понимать, ты спрашиваешь, э-э-э, как вышло, что Густав фон Зайфертиц, барон Вольдштайн, покинул холодные океанские глубины, бросил дорогой его сердцу боевой корабль, бороздивший Северное море, оставил разбитое, униженное отечество и превратился в доктора с *Undersea*-лодки...

- Раз уж вы упомянули...
- Я никогда ничего не упоминаю! Я заявляю. А мои заявления – это боевые приказы.
- Похоже на то...
- Молчать. Откинуться на спину.
- Немного погодя... – Я еле ворочал языком.

Он щелкнул штиблетами, а пальцы правой руки пауком поползли в верхний карман пиджака, чтобы извлечь еще один, четвертый, глаз и с его помощью окончательно пригвоздить меня к месту, – поблескивающий тонкий монокль вписался в глазницу, как крутое яйцо в рюмку. Меня передернуло. Теперь монокль составлял единое целое с его взглядом и обстреливал меня ледяным огнем.

– Это еще для чего? – спросил я.

– Болван! Для того, чтобы закрыть *зрячий глаз*, чтобы не видеть *ни одним глазом* и высвободить интуицию!

– Вот оно что, – сказал я.

И он начал свою речь. Тогда до меня дошло, что он долгие годы сдерживал, подавлял эту потребность и теперь уже не мог остановиться, начисто забыв обо мне.

Кроме того, в ходе этого монолога произошла странная штука. Пока я кое-как поднимался с кушетки, герр *Doktor* фон Зайфертиц стал ходить по кабинету кругами, а его длинная, тонкая сигара выпускала перистые облачка дыма, которые он изучал, словно белые пятна в тестах Роршаха^[8].

Каждый раз, когда его подошва касалась пола, он произносил очередное слово, которое укладывалось вместе с другими в тяжеловесную конструкцию. Время от времени он останавливался, и тогда одна нога застывала в воздухе, а очередное слово оставалось за зубами, чтобы можно было его повертеть во рту и распробовать на вкус. Вскоре подошва опускалась, с языка слетало подлежащее, немного погодя – сказуемое, а за ним, глядишь, и дополнение.

И так до тех пор, пока я сам, покружив по кабинету, не рухнул в кресло, потеряв дар речи от увиденного.

Герр *Doktor* фон Зайфертиц вытянулся на собственной кушетке, сплетя на груди паучью сеть из своих длинных пальцев.

– Не так-то просто списаться на берег, – прошелестел он. – Бывало, ощущал себя как медуза на снегу. Или как осьминог, выброшенный из воды, но хотя бы со щупальцами, а то и как лангуст, из которого высосали все соки. Однако за долгие годы я обрел хребет, затесался в сухопутную толпу и отступать не собираюсь.

Он сделал паузу, судорожно глотнул воздуха и продолжал:

– Двигался я шаг за шагом: из морской пучины – на баржу, потом в сторожку на пристани, оттуда – в палатку на пляже, потом на какой-то городской канал и наконец в Нью-Йорк, ведь это остров среди воды, так? Но где же, спрашивал я, где в этих скитаниях найдет себе место командир подводного корабля, куда приложит свои силы, одержимость, жажду

деятельности?.. Ответ пришел в одночасье, когда я очутился в здании, что известно на весь мир самой протяженной шахтой лифта. Кабина спускалась ниже, ниже и ниже, мимо меня протискивались все новые люди, номера за стеклом убывали, этаж мелькал за этажом, огни загорались и гасли, загорались и гасли, сознательное, бессознательное, *id, ego*^{9}, *id*, жизнь, смерть, блуд, взрыв, блуд, тьма, свет, полет, паденье, девяносто, восемьдесят, пятьдесят, необъятная бездна, вершина ликования, *id, ego, id* — и так без остановки, пока у меня из воспаленного горла не вырвался этот великий, всепроникающий, панически-неотвязный клич: «Погружение! Погружение!»

– Как же, слышал, – подтвердил я.

– «Погружение!» – мой возглас был столь оглушительен, что попутчики остолбенели и дружно напрудили в штаны. Когда я выходил из лифта, меня провожали перекошенные физиономии, а на полу стояла лужа глубиной в одну шестнадцатую дюйма. «Всех благ!» – бросил я, торжествуя обретение себя, и очень скоро занялся делом: открыл частную практику, а потом установил снятый с искалеченного, разграбленного, оскотленного корабля перископ, хранившийся у меня все эти годы. Глупец, я и не подозревал, что в нем – моя психоаналитическая будущность и окончательный крах; это мое лучшее творение, медный фаллос психоанализа, Перископ Девятого Класа, собственность фон Зайфертица!

– Потрясающая история, – сказал я.

– Еще бы! – фыркнул доктор, смежив веки. – И по меньшей мере наполовину правдивая. Ты внимательно слушал? Что ты из нее вынес?

– Что другим командирам подводных лодок тоже не вредно податься в психиатры.

– Вот как? Я частенько задумываюсь: неужели капитан Немо и впрямь сгинул вместе со своей субмариной? Может, ему суждено было уцелеть и стать моим прадедом; может, он передал потомкам свои психологические бактерии, которые просто дремали, пока в этот мир не пришел я, желавший управлять потаенным механизмом глубинных течений, но закончивший шутовскими сеансами по пятьдесят минут в этом унылом психопатическом городе?

Выбравшись из кресла, я потрогал фантастический медный символ, который свисал из середины потолка, словно лабораторный сталактит.

– Можно в него посмотреть?

– Не советую. – Он слушал вполуха, объятый свинцовой тучей депрессии.

– Но перископ есть перископ, и только...^{10}

– ...А добрая сигара – наслажденье.

Вспомнив, что говорил о сигарах Фрейд, я рассмеялся^{11} и еще раз дотронулся до перископа.

– Не советую, – повторил доктор.

– Послушайте, какой прок от этой штуковины? Она у вас хранится только в память о прошлом, о вашей подлодке, верно?

– Ты так считаешь? – Он вздохнул. – Тогда вперед!

Помедлив, я зажмурил один глаз, другим припал к окуляру и вскричал:

– Боже праведный!

– Я предупреждал! – сказал фон Зайфертиц.

Все они были там.

Кошмары – хватило бы на тысячу киноэкранов. Призраки – хватило бы на десять тысяч замков. Тревоги – хоть круши города.

Ну и ну, подумал я, можно по всему миру торговать правами на экранизацию!

Первый в истории психопатологический калейдоскоп.

И тут же в голову пришла другая мысль: какие из этих картинок составляют меня самого? Какие – фон Зайфертица? Или нас обоих? Есть ли среди этих причудливых обра-

зов мои навязчивые страхи, выплеснутые наружу за прошедшие недели? Неужели, когда я, закрыв глаза, говорил и говорил, у меня изо рта вырывались сонмы крошечных тварей, которые, попадая в отсеки перископа, вырастали до невероятных размеров? Как микробы на волосках бровей и в порах кожи, увеличенные в миллион раз под микроскопом и запечатленные на обложке «Сайентифик америкэн»^{12}, где они больше похожи на стадо слонов? Откуда взялись эти образы – из чьих-то изломанных душ, которые цепко держала кожаная кушетка и ловил подводный прибор, или же из-под моих ресниц, из глубин души?

– Такому аппарату цена – миллионы долларов! – вскричал я. – Вы сами-то понимаете, что это за штука?

– Здесь целая коллекция: тарантулы, ядовитые ящерицы, полеты на Луну без крыльев-паутинок, игуаны, жабы изо рта злой колдуньи, бриллианты из ушка доброй феи, калеки из театра теней на острове Бали, деревянные куклы из каморки папы Карло, статуи мальчиков, которые мочатся белым вином, воздушные гимнасты со своим похотливым «алле-оп», непристойные жесты, клоуны в дьявольском облике, причудливые каменные маски, что болтают под дождем и шепчутся на ветру, бочонки отравленного меда в закромах, стрекозы, что зашивают все отверстия на теле тех, кому стукнуло четырнадцать, дабы их не замарала скверна, пока они не распорют швы, достигнув восемнадцатилетия. Обезумевшие ведьмы в башнях, мумии, сваленные на чердаках...

Тут у него перехватило дух.

– В общем, идея тебе ясна.

– Муть, – сказал я. – Это все от скуки. Но могу протолкнуть для вас контракт миллионов этак на пять в «Шизо амалгамейтед, эл-те-де». А то и в «Корабль фантазий Зигмунда Ф.», с раздвоением наличности!

– Ты ничего не понимаешь, – сказал фон Зайфертиц. – Я просто нашел себе занятие, чтобы не думать о тех, кого взорвал, подбил, отправил на дно Атлантики в сорок четвертом. Киностудия «Шизо амалгамейтед» – это не по моей части. Мне достаточно содержать в порядке ногти, чистить уши да выводить пятна с денежных мешков вроде тебя. Стоит только остановиться – и от меня останется мокрое место. В этом перископе собралось все, что я повидал за последние сорок лет, наблюдая за психами разных сортов и калибров. Когда я смотрю в окуляр, моя собственная кошмарная жизнь, омытая приливами и отливами, создается. Если мой перископ объявится в каком-нибудь низкопробном, дешевом голливудском балагане, я трижды утоплюсь в своем водяном матраце, чтобы от меня и следа не осталось. Видел мой водяной матрац? Величиной с три бассейна. Каждую ночь проплываю его вдоль и поперек восемьдесят раз. Или сорок – если днем удастся вздремнуть. Так что на твое многомиллионное предложение отвечаю «нет».

Вдруг по телу доктора пробежала судорога. Он схватился за сердце.

– Что я наделал! – вскричал он.

Слишком поздно до него дошло, что он впустил меня в свое сознание и бытие. Вклинившись между мною и перископом, он затравленно переводил глаза с меня на аппарат и обратно, словно стиснутый между двумя кошмарами.

– Ты там ничего не видел! Ровным счетом ничего!

– Нет, видел!

– Ложь! Как можно опуститься до такого вранья? Представляешь, что будет, если это сделается достоянием гласности, если ты начнешь трубить направо и налево?.. Боже правый, – бушевал он, – если мир об этом узнает, если кто-нибудь проговорится... – Слова застыли у него на языке, будто давая почувствовать вкус истины, будто я, доселе незнакомый, вдруг обернулся пистолетом, стреляющим в упор. – Меня... засмеют, выживут из города. Несмываемый позор... Постой-ка. Эй, ты!

Его лицо словно загордилось дьявольской маской. Глаза вылупились. Челюсть отвисла.

Вглядевшись в его черты, я почуял убийство. Бочком, бочком стал продвигаться к выходу.

– Ты не проболтаешься? – спросил он.

– Нет.

– Как это ты исхитрился вызнать всю мою подноготную?

– Да вы же сами *рассказали!*

– Верно, – изумился он и начал озираться в поисках орудия. – Задержись-ка на минуту.

– С вашего позволения, – выговорил я, – мне пора.

Выскользнув за дверь, я припустил по коридору; колени на бегу подскакивали так, что едва не выбили мне нижнюю челюсть.

– Назад! – заорал мне в спину фон Зайфертиц. – Тебя нужно убить!

– Я так и понял!

До лифта я добежал первым; стоило мне ударить кулаком по кнопке «вниз» – и дверцы, к счастью, тут же разъехались в стороны. Я запрыгнул в кабину.

– А попрощаться? – выкрикнул фон Зайфертиц, вскинув кулак, словно в нем была зажата бомба.

– Прощайте, – сказал я. Двери захлопнулись.

После этого мы с доктором не виделись около года.

Я частенько ходил по ресторанам и, каюсь, рассказывал приятелям и вообще кому попало о своей коллизии с командиром подлодки, что заделался френологом (это тот, кто ощупывает твой череп и считает шишки).

Стоило разок тряхнуть психиатрическое древо, как с него посыпались обильные плоды. Баронские карманы не пустовали, а на банковский счет хлынула настоящая лавина. На исходе века будет отмечен его «Большой шлем»^{13}: участие в телепрограммах Фила Донахью, Опри Уинфри и Джералдо в течение одного ураганного вечера – взаимозаменяемые превосходные степени, положительные-отрицательные-положительные, с промежуток в какой-то час. В Музее современного искусства и Смитсоновском институте^{14} продавались лазерные игры «Фон Зайфертиц» и дубликаты его перископа. Поддавшись искушению в виде полумиллиона долларов, он выжал из себя беспомощную книжонку, которая мгновенно исчезла с прилавков. Изображения мелкой живности, затаившихся тварей и невиданных чудищ, попавших в ловушку его медного перископа, воспроизводились на страницах альбомов-раскрасок, на переводных картинках и чернильных печатках с монстрами, заполонивших «Магазины детских игрушек».

Мне хотелось надеяться, что благодаря этому он все простит и забудет. Ничуть не бывало.

Как-то днем, спустя год и месяц, у меня в квартире раздался звонок: на пороге, обливаясь слезами, стоял Густав фон Зайфертиц, барон Вольдштайн.

– Почему я тогда тебя не убил? – простонал он.

– Потому что не догнали, – ответил я.

– Ах *ja*. Действительно.

Вглядевшись в мокрое от дождя и распухшее от слез лицо, я спросил:

– Кто-то умер?

– Ко мне пришла смерть. Или *за мной*? Ах, к черту эти тонкости. Перед тобой, – всхлипнул он, – существо, пораженное синдромом Румпельштильцхена^{15}!

– Румпель...

– ...штильцхена! Две половинки, рассеченные от горла до паха! Дерни меня за волосы, ну же! Увидишь, как я развалюсь надвое. С треском разойдется психопатическая «молния», и я развалюсь: был один герр *Doktor*-адмирал, а станет два – по бросовой цене одного. Который из них доктор-целитель, а который – адмирал, он же автор бестселлера? Тут без двух зеркал не разберешься. И без сигарного дыма!

Умолкнув, он огляделся и сжал голову руками.

– Видишь трещину? Неужели я вновь распадаюсь на части, чтобы превратиться в безумного моряка, алчущего денег и славы, терзаемого пальцами безумных женщин с раздавленным либидо? Страдалицы-камбалы, так я их прозвал! Однако брал с них деньги, плевался и транжирил! Тебе бы так – хотя бы год! Нечего скалиться.

– Я не скалюсь.

– Тогда терпи, пока я не закончу. Где тут можно прилечь? Это кушетка? Уж больно коротка. Куда девать ноги?

– Свесить набок.

Фон Зайфертиц улегся, свесив ноги на пол.

– А что, неплохо. Садись за изголовьем. Не заглядывай мне через плечо. Отведи глаза. Не ухмыляйся и не кривись, покуда я буду выдавливать психоклей, чтобы заново склеить Румпеля и Штильцхена; пожалуй, так и назову, с Божьей помощью, свою вторую книгу. Чтоб ты провалился ко всем чертям, а заодно и твой проклятый перископ!

– Почему мой? Ваш. Вы сами хотели, чтобы я в тот день с ним ознакомился. Подозреваю, вы не один год нашептывали забывшимся в полудреме пациентам: «Погружение, погружение». Но не устояли перед своим же оглушительным криком: «Погружение!» Это в вас проснулся тот самый капитан, алчущий славы и денег, каких хватило бы на содержание конюшни чистокровных скакунов.

– Господи, – прошептал фон Зайфертиц. – Как я ненавижу, когда тебя тянет на откровенность. Мне уже легче. Сколько с меня причитается?

Он поднялся с кушетки:

– Пожалуй, будем убивать не тебя, а монстров.

– Монстров?

– У меня в кабинете. Если сможем пробиться сквозь толпы душевнобольных.

– Хотите сказать, душевнобольные заполнили не только ваш кабинет, но и все подходы?

– Я тебе когда-нибудь лгал?

– И не раз. Впрочем, – добавил я, – самую малость, для пользы дела.

– Пошли, – скомандовал он.

На лестничной площадке нас встретила длинная очередь почитателей и просителей. Между лифтом и дверью баронской приемной ожидало никак не меньше семидесяти человек, прижимавших к груди сочинения мадам Блаватской^{16}, Кришнамурти^{17} и Ширли Маклейн^{18}. При виде барона у толпы вырвался вой, как из открытой топки. Мы ринулись вперед и прошмыгнули в приемную, не дав опомниться страждущим.

– Полюбуйся, что ты наделал! – указал пальцем в сторону двери фон Зайфертиц.

Стены приемной были обшиты дорогим тиковым деревом. Письменный стол наполеоновской эпохи, редкостный образчик стиля ампир, стоил не менее пятидесяти тысяч долларов. Кушетка так и притягивала мягчайшей кожей, а на стене висели полотна Ренуара и Моне, причем подлинники. Боже праведный, подумалось мне, это миллионы и миллионы!

– Итак, – начал я, – вы говорили о чудовищах. Что, мол, будете убивать их, а не меня.

Старик вытер глаза тыльной стороной ладони и сжал руку в кулак.

– Да! – выкрикнул он, делая шаг в сторону блестящего перископа, изогнутая поверхность которого нелепо искажала его лицо. – Вот так. И вот этак!

Не успел я ему помешать, как он наотмашь хлопнул по медному агрегату и замолотил по нему сразу двумя кулаками, раз, другой, третий, не переставая грязно ругаться. А потом, словно желая задушить, сдавил и начал трясти перископ, как малолетнего преступника.

Затрудняюсь сказать, что именно я услышал в этот миг. То ли обыкновенный треск, то ли воображаемый взрыв, будто по весне раскололась льдина или в ночи полопались сосульки. Наверно, с таким же треском ломается на ветру рама исполинского воздушного змея, прежде чем осесть на землю под лоскутами бумаги. Возможно, мне послышался неизбывно тяжелый вдох, распад облака, начавшийся изнутри. А может, это заработал безумный часовой механизм, выбрасывая дым и медные хлопья?

Я припал к окуляру.

А там...

Ничего.

Обычная медная трубка, линзы и вид пустой кушетки.

Вот и все.

Ухватившись за перископ, я попытался направить его на какой-нибудь незнакомый удаленный объект, чтобы разглядеть фантастические микросущества, которые – не исключено – пульсировали на непостижимом горизонте.

Но кушетка оставалась всего лишь кушеткой, а стены взирали на меня с неподдельным равнодушием.

Фон Зайфертиц ссутулился, и с кончика его носа сорвалась слеза, упав прямо на рыжеватый кулак.

– Подошли? – шепотом спросил он.

– Сгинули.

– Ладно, туда им и дорога. Теперь смогу вернуться в нормальный, здравомыслящий мир.

С каждым словом голос его падал все глубже, в гортань, в грудь, в душу, и наконец, подобно призрачным видениям, роившимся в перикалейдоскопе, растаял в тишине.

Он сложил перед собой истово сжатые кулаки, словно ища у Господа избавления от напастей. Закрыв глаза, он, наверно, опять молился о моей смерти, а может, просто желал мне сгнуться вместе с видениями, что теснились в медном аппарате, – трудно сказать наверняка.

Одно знаю точно: мои досужие рассказы привели к страшным, необратимым последствиям. Кто меня тянул за язык, когда я, распинаясь о грядущих возможностях психологии, создавал славу этому необыкновенному подводнику, который погружался в пучину глубже, чем капитан Немо?

– Сгинули, – шептал напоследок Густав фон Зайфертиц, барон Вольдштайн. – Сгинули. На этом почти все и закончилось.

Через месяц я снова пришел туда. Домовладелец весьма неохотно позволил мне осмотреть квартиру, и то лишь потому, что я сделал вид, будто подыскиваю жилье.

Мы стояли посреди пустой комнаты; на полу еще оставались вмятины от ножек кушетки.

Я поднял глаза к потолку. Он оказался совершенно гладким.

– Что такое? – спросил хозяин. – Неужели плохо заделано? Этот барон – вот блаженный, право слово! – пробил отверстие в квартиру выше этажом. Он ее тоже снимал, хотя, по-моему, без всякой нужды. Когда он съехал, только дыра и осталась.

У меня вырвался вздох облегчения.

– Наверху ничего не обнаружилось?

– Ничего.

Я еще раз осмотрел безупречно ровный потолок.

– Ремонт сделан на совесть, – заметил я.

– Да, слава богу, – отозвался хозяин.

Меня часто посещает вопрос: а что же Густав фон Зайфертиц? Не обосновался ли он, часом, в Вене, прямо в доме незабвенного Зигмунда – или где-нибудь по соседству? Или перебрался в Рио, взбодрить таких же, как он сам, командиров-подводников, которые, мучаясь бессонницей, ворочаются на водяных матрацах под сенью Южного Креста? А может, коротает дни в Южной Пасадене^{19}, откуда рукой подать до тех мест, где на фермах, замаскированных под киностудии, обильно плодоносит махровый бред?

Кто его знает.

Могу сказать одно: случается, по ночам, в глубоком сне – ну, пару раз в году, не чаще, – я слышу жуткий вопль:

– Погружение! Погружение! Погружение!

И просыпаюсь в холодном поту, забившись под кровать.

Пять баллов по шкале Захарова – Рихтера

В предрассветных сумерках здание выглядело совершенно заурядным, примерно как фермерский дом, где прошла его юность. Оно маячило в полумраке, среди пырея и кактусов, на пыльной земле, пересеченной заросшими тропами.

Чарли Кроу оставил «роллс-ройс» у обочины, не заглушив двигатель, а сам зашагал, ни на минуту не умолкая, по едва различимой дорожке; поспевавший за ним Хэнк Гибсон оглянулся на мягко урчащий автомобиль.

– Может, надо бы...

– Нет-нет, – перебил Чарли Кроу. – Кому придет в голову угонять «роллс-ройс»? На нем дальше первого светофора не уедешь. А там, глядишь, отнимут! Не отставай!

– К чему такая спешка? У нас в распоряжении все утро!

– Напрасно ты так думаешь, приятель. У нас в распоряжении... – Чарли Кроу посмотрел на часы. – Двадцать минут, если не пятнадцать, на все про все: на грядущую катастрофу, на откровения, так что мешкать не стоит.

– Не таракти как пулемет и не беги, ты меня до инфаркта доведешь.

– Ничего с тобой не случится. Положи-ка вот это в карман.

Хэнк Гибсон посмотрел на документ цвета денежных знаков.

– Страховка?

– На твой дом, по состоянию на вчерашний день.

– Но нам не нужна...

– Нет, нужна, просто вы об этом не подозреваете. Распишись на втором экземпляре. Вот здесь. Плохо видно? Держи мою ручку с фонариком. Молодчина. Давай один экземпляр сюда. Один тебе...

– Черт побери...

– Не чертыхайся. Ты теперь защищен на все случаи жизни. Лови момент.

Хэнк Гибсон и ахнуть не успел, как его взяли за локоть и протолкнули в облезлую дверь, а там обнаружилась еще одна запертая дверь, которая открылась, когда Чарли Кроу посветил на нее лазерной указкой. За дверью оказался...

– Лифт! Неужели здесь работает лифт, в этом сарае, на пустыре, в пять утра?..

– Тише ты.

Пол ушел из-под ног, и они спустились строго вниз футов этак на семьдесят, а то и восемьдесят, где перед ними с шепотом отъехала в сторону еще одна дверь, и они вошли в длинный коридор с добрым десятком дверей по обе стороны и несколькими десятками приветливо светящихся окошек поверху. Не дав Хэнку Гибсону опомниться, его подтолкнули вперед, мимо всех этих дверей, на которых читались названия городов и стран мира.

– Проклятье! – вскричал Хэнк Гибсон. – Терпеть не могу, когда меня тащат черт знает куда да еще нагоняют туману! Мне нужно закончить книгу и статью для газеты. У меня нет времени...

– На самую грандиозную историю в мире? Вздор! Мы с тобой ее напишем сообща и разделим гонорар! Ты не устоишь. Бедствия. Трагедии. Холокосты!

– У тебя прямо страсть к гиперболам...

– Спокойно. Настал мой черед показывать и рассказывать. – Чарли Кроу посмотрел на часы. – Теряем время. С чего начнем? – Он обвел жестом два десятка закрытых дверей с надписями у одного края: «Константинополь», «Мехико-Сити», «Лима», «Сан-Франциско». А у другого края – 1897, 1914, 1938, 1963.

Была там и приметная дверь с надписью «Осман, 1870»^[20].

– Место-год, год-место. Откуда я знаю, как тут выбирать?

– Неужели эти города и даты ни о чем тебе не говорят, не будоражат мысль? Загляни-ка сюда. И вот туда. Теперь давай дальше.

Хэнк Гибсон послушался.

Заглянув сквозь стеклянное окошко за одну такую дверь, помеченную «1789», он увидел...

– Вроде бы Париж.

– Нажми на кнопку под окном.

Хэнк Гибсон нажал на кнопку.

– А теперь приглядиись!

Хэнк Гибсон пригляделся.

– Господи, Париж. В огне. И гильотина!

– Верно. Дальше. Следующая дверь. Следующее окошко.

Хэнк Гибсон двигался вперед и смотрел.

– Опять Париж, Богом клянусь. Нажимать на кнопку?

– Не вижу препятствий.

Он нажал на кнопку.

– Ну и ну, так и полыхает. Только теперь это год тысяча восемьсот семидесятый. Парижская коммуна? Париж сражается с немецкими наемниками за городской чертой, парижане убивают парижан в городской черте. Французы – уникальная нация, верно? Не задерживайся!

Они подошли к третьему окну. Гибсон заглянул внутрь.

– Париж. Уже не горит. А вот и такси, целый поток. Знаю-знаю. Тысяча девятьсот шестнадцатый. Париж спасли тысяча парижских такси, перевозивших солдат, чтобы остановить немцев на подступах к городу.

– Пятерка! А дальше?

Четвертое окно.

– Париж в неприкосновенности. Зато неподалеку... Дрезден? Берлин? Лондон? Они в руинах.

– Верно. Как тебе нравится трехмерная виртуальная реальность? Высший класс! Но хватит с нас городов и войн. Переходим на другую сторону. Движемся вдоль стены. Эти двери ведут ко всяческим разрушениям.

– Мехико? Я там побывал в сорок шестом.

– Нажимай.

Хэнк Гибсон нажал на кнопку.

Город рухнул, задрожал и снова рухнул.

– Землетрясение восемьдесят четвертого?

– Восемьдесят пятого, если уж быть точным.

– Боже, сколько нищих. Мало того что эти несчастные бедствуют, а ведь еще тысячи погибли, остались калеками, потеряли все. Но правительству...

– На это наплевать. Двигайся дальше.

Они остановились у двери с надписью «Армения. 1988».

Гибсон заглянул внутрь и нажал на кнопку.

– Армения, крупное государство. Крупное государство – и как не бывало.

– Сильнейшее землетрясение за полвека в том регионе.

Они остановились еще у двух окошек: «Токио, 1932» и «Сан-Франциско, 1905». На первый взгляд – целые и невредимые. Нажатие на кнопку – и все рушится!

Гибсон побледнел и отвернулся; его била дрожь.

– Ну? – спросил его друг Чарли. – Что в итоге?

– Война и мир? Или мир, разрушающий себя без войны?

– Точно!

– Зачем ты мне это показываешь?

– Ради твоего и моего будущего, ради несметных богатств, беспримерных открытий, поразительных истин. *Andale! Vamoose!*^{21}

Чарли Кроу посветил лазерной указкой на самую внушительную дверь в дальнем конце коридора. Зашипели двойные замки, дверь ушла в сторону, а за ней открылся просторный зал заседаний с огромным пятнадцатиметровым столом и двадцатью кожаными креслами с каждой стороны; в дальнем конце виднелся то ли трон, то ли какой-то помост.

– Вот туда и садись, – сказал Чарли.

Хэнк Гибсон медленно двинулся вперед.

– Шевели ногами. До конца света остается семь минут.

– До конца?..

– Шучу, шучу. Ты готов?

Хэнк Гибсон сел.

– Выкладывай.

Стол, кресла, зал – все задрожало.

Гибсон вскочил.

– Что это было?

– Ничего особенного. – Чарли Кроу сверился с часами. – Время еще есть. Сиди пока.

Что ты увидел?

Гибсон нехотя опустился в кресло и стиснул подлокотники.

– Черт его знает. Лики истории?

– Да, но какие *именно*?

– Война и мир. Мир и война. Мир, конечно, ни к черту не годится. Землетрясения, пожары.

– Соображаешь! А теперь скажи, кто ответствен за эти разрушения, за оба лика?

– За войну? Наверно, политики. Банды националистов. Жадность. Зависть. Фабриканты оружия. Заводы Круппа в Германии. Захаров – так, кажется, его звали? Главный поставщик боевой техники, кумир поджигателей войны, герой документальных фильмов из времен моего детства. Захаров?

– Верно! А что ты скажешь о другой стороне коридора? О землетрясениях?

– Это от Бога.

– Только от Бога? Без пособников?

– Каким образом можно пособничать землетрясению?

– Частично. Косвенно. Сообща.

– Землетрясение и есть землетрясение. Город просто оказывается у него на пути. Под ногами.

– Неправильно, Хэнк.

– Неправильно?

– А если я тебе скажу, что эти города не случайно были построены в тех местах? А если я тебе скажу, что мы задумали построить их именно там, с особой целью – чтобы они подверглись разрушению?

– Идиотизм!

– Нет, Хэнк, креативная аннигиляция. Мы занимались этим делом – по части землетрясений – еще в эпоху династии Тан^{22}. Это с одной стороны. По части городов? Париж. Тысяча семьсот восемьдесят девятый год – *по части войны*.

– Мы? Мы? Кто это «мы»?

– Я, Хэнк, и мои когорты, только одетые не в пурпур и золото, а в добротное темное сукно, при элегантных галстуках, как подобает выпускникам престижных архитектурных

факультетов. Это наших рук дело, Хэнк. Мы строили города, с тем чтобы их сносить. Разрушать с помощью землетрясений или уничтожать с помощью бомбардировок и войн, войн и бомбардировок.

– Мы? *Мы?*

– В этом зале, или в таких же залах по всему миру, в этих креслах сидели люди, по правую и по левую руку от верховного верховода всех зодчих, который возвышался там, где сейчас сидишь ты...

– Зодчие?

– Неужели ты думаешь, что все эти землетрясения, все войны начинались по воле случая, по чистому стечению обстоятельств? Их устраивали мы, Хэнк, проектировщики-градостроители всего мира. Не фабриканты оружия, не политики – о, для нас они были словно марионетки, куклы, услужливые дураки, тогда как мы, архитекторы высшей марки, планировали создание и последующее уничтожение наших детищ, наших зданий и городов!

– Боже, какое безумие! Для чего?

– Для того, чтобы каждые сорок, пятьдесят, шестьдесят, девяносто лет воплощать в жизнь новые проекты и новые замыслы, чтобы пробовать себя в другом деле, чтобы все были при деньгах – чертежники, дизайнеры, отделочники, строители, каменщики, землекопы, плотники, стекольщики, садовники. Все снести подчистую – и начать заново!

– То есть ты?..

– Изучал повадки землетрясений, сейсмические зоны, все швы, трещины и дефекты земной поверхности в каждом регионе, краю, уголке мира! Там-то мы и строили города! *Почти все.*

– Вранье! Черта с два у вас бы это получилось. Тоже мне, проектировщики! От людей такого не утаишь!

– Тем не менее никто не догадывался. Мы собирались тайно, заматали следы. Небольшой клан, горстка заговорщиков в каждой стране, в каждую эпоху. Прямо как масоны, да? Или секта католиков-инквизиторов. Или подпольная мусульманская группировка. Для такой организации многого не требуется. А средней руки политик, недалёковидный или попросту глупый, верил нам на слово. Смотрите, вот оно, это место, вот оптимальное пятно застройки, заложите столицу здесь, а промышленный город – там. Опасности никакой. До ближайшего землетрясения, соображаешь, Хэнк?

– Что за фигня?

– Попрошу без грубостей!

– Ни за что не поверю...

Зал вздрогнул. Кресла задрожали. Хэнк Гибсон, собравшийся было встать, рухнул на сиденье. Кровь отхлынула от его лица.

– Осталось две минуты, – сообщил Чарли Кроу. – Поневоле будешь тархтеть как пулемет. Итак, ты по-прежнему считаешь, что судьбы мира вершит твой сельский политикан-скотовод? Ты когда-нибудь присутствовал на обеде в Ротарианском клубе^{23}, общался с гладкими жеребцами из Торговой палаты? Сонные прожектеры! Ты бы согласился, чтобы мир плясал под дудку Захарова и его ракетчиков? Да ни за что. Они способны организовать только литье стали и упаковку взрывчатки. Вот поэтому наши люди – те, кто спроектировал города в сейсмоопасных зонах, чтобы обеспечить новые рабочие места на строительстве новых городов, – и планировали войны. Естественно, втайне. Мы подстрекали, направляли, использовали политиков, оказывали давление, не гнушались никакими средствами, чтобы добиться свободы действий, и получили Париж, потом тиранию, потом пришел Наполеон, а следом – Парижская коммуна, и тогда Осман под шумок разрушил и заново отстроил город – к ярости одних и радости других. Вспомни Дрезден, Лондон, Токио, Хиросиму. Это мы, зодчие, оплатили звонкой монетой освобождение Гитлера из тюрьмы в двадцать втором году!

Это мы, зодчие, наседали, словно москиты, на японцев, чтобы вторгнуться в Маньчжурию, наладить импорт железной руды, довести Рузвельта до белого каления и сбросить бомбы на Пирл-Харбор. Естественно, император не возражал; естественно, генералы торжествовали; естественно, камикадзе с радостным воодушевлением отправлялись на тот свет. А за кулисами мы, зодчие, аплодировали и отсчитывали жалованье, чтобы поощрить статистов! Не политики, не военные, не торговцы оружием, а сыны Османа и будущие сыны Фрэнка Ллойда Райта^[24] вытаскивали их на сцену. Аллилуйя!

Хэнк Гибсон, придавленный крупницей информации и гнетом недоумения, сделал резкий выдох и остался сидеть во главе стола. Потом измерил на глаз длину столешницы.

– Здесь проходили заседания...

– В тысяча девятьсот тридцать втором, тридцать шестом и тридцать девятом, чтобы Токио уже не мог без войны оправиться от гнойных ран, а Вашингтон – от расстройства желудка. Вместе с тем нужно было проследить, чтобы Сан-Франциско наилучшим образом отстраивался для следующего разрушения и чтобы калифорнийские города, построенные вдоль трещин и швов, подкормились за счет основного разлома в Сан-Андреасе – чтобы после «Большой тряски» сорок дней шел золотой дождь.

– Сукин ты сын, – сказал Хэнк Гибсон.

– Что правда, то правда! Да и все *мы* таковы, верно?

– Сукин сын, – повторил Хэнк Гибсон шепотом. – Войны, значит, от человека, а землетрясения – от Бога.

– Неплохое сотрудничество, а? Всем заправляет тайное правительство, правительство архиархитекторов, чья власть распространяется на весь мир и нацелена в грядущее столетие.

Пол содрогнулся. А вместе с ним – стол, кресла и потолок.

– Время? – спросил Хэнк Гибсон.

Чарли Кроу, поглядев на часы, рассмеялся.

– Время. Бежим.

Они бросились к выходу, припустили по коридору, мимо дверей с надписями «Токио», «Лондон», «Дрезден», мимо дверей с надписями «Армения», «Мехико-Сити», «Сан-Франциско», и запрыгнули в лифт; тогда Хэнк Гибсон спросил:

– И все-таки: зачем ты посвятил меня в эти дела?

– Я собираюсь уйти на покой. Кого-то уже с нами нет. Мы больше не станем использовать эту базу. Она исчезнет. Возможно, прямо сейчас. Ты накропаешь книжку об этих поразительных явлениях, я отредактирую, срубим деньжат – и поминай как звали.

– Да кто этому поверит?

– Никто. Но книга произведет сенсацию и разойдется в мгновение ока. Миллионными тиражами. А докапываться до сути ни одна живая душа не станет, потому как все одним миром мазаны: городские власти, торговые палаты, риелторы, генералы – все, кто мнит, будто сами планируют и ведут войны или планируют и строят города! Самонадеянные болваны! Ну наконец-то. Выбрались.

Они вышли из лифта и уже были в дверях, когда произошел очередной толчок. Оба рухнули на землю и поднялись с нервным смехом.

– Вот что значит Калифорния, да? Как там мой «ролле», на месте?

– Ага. Угонщики сюда не добрались. Залезай!

Положив ладонь на дверцу автомобиля, Гибсон посмотрел в лицо другу:

– Разлом Сан-Андреас проходит под этой местностью?

– Считаю, что так. Хочешь подъехать к своему дому?

Гибсон закрыл глаза.

– Черт, страшно.

– Пусть тебя согревает страховой полис, который ты сунул в карман. Едем?

– Одну минуту. – Гибсон проглотил застрявший в горле ком. – Как будет называться наша книга?

– Который час? Какое сегодня число?

Гибсон посмотрел на занимающийся восход.

– Рано. Полседьмого. А число, если верить моим часам, пятое февраля.

– Тысяча девятьсот девяносто четвертого?

– Шесть тридцать утра пятого февраля тысяча девятьсот девяносто четвертого года.

– Вот тебе и готовое заглавие для нашей книги. Или так: «Захаров», и Рихтера надо прицепить, в честь шкалы Рихтера. «Пять баллов по шкале Захарова – Рихтера». Пойдет?

– Пойдет.

Хлопнули автомобильные двери. Взревел двигатель.

– К дому?

– Гони. Умоляю. На предельной скорости.

Они помчались.

На предельной скорости.

Помнишь Сашу?

Помнишь? Ну как же можно забыть! Хотя знакомство было кратким, годы спустя его имя возникало не раз, и они улыбались, и даже смеялись, и тянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, предаваясь воспоминаниям.

Саша. Такой милый, веселый дружок, такой лукавый, таинственный проказник, такой талантливый ребенок; выдумщик, егоза, неутомимый собеседник в ночной тиши, неугасимый лучик в тумане дня.

Саша!

Тот, кого они никогда не видели воочию, но с кем часто вели разговоры у себя в тесной спальне в три часа ночи, когда рядом не было посторонних, которые стали бы закатывать глаза и, услышав его имя, высказывать сомнения в их здравомыслии.

Ну ладно, кем и чем был для них Саша, как они познакомились, а может, просто его придумали, и, наконец, кто такие они сами?

Вкратце: они – это Мэгги и Дуглас Сполдинг, жители тех мест, где шумное море, теплый песок и шаткие мостики над почти пересохшими каналами Венеции, что в штате Калифорния. Несмотря на отсутствие солидного банковского счета и дорогой мебели, они были несказанно счастливы в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Он занимался писательским трудом, а она зарабатывала на жизнь, чтобы дать ему возможность закончить великий американский роман.

У них было заведено так: по вечерам она возвращалась домой из делового центра Лос-Анджелеса, а он покупал к ее приходу гамбургеры, или же они вместе шли на пляж, где можно было съесть булочку с сосиской и оставить центов десять – двадцать в павильоне игровых автоматов, потом возвращались домой, занимались любовью, засыпали, а следующим вечером наслаждались все тем же восхитительным распорядком: хот-доги, игровые автоматы, близость, сон, работа и так далее. Тот год, исполненный любви и молодости, ощущался как блаженство, а значит, должен был длиться вечно...

Пока не появился он.

Безымянный. Да-да, у него еще не было имени. Он грозил вторгнуться в их жизнь считанные месяцы спустя после свадьбы, нарушить заведенный уклад, спугнуть писательское вдохновение; но потом он как-то растворился, оставив лишь слабый отголосок тревоги.

Однако теперь коллизия замаячила всерьез.

Как-то вечером, когда на журнальном столике красовались яичница с ветчиной и бутылка дешевого красного вина, они завели негромкий разговор о том о сем, каждый предрекал другому великое и славное будущее, а Мэгги вдруг сказала:

– Мне нездоровится.

– Что такое? – встревожился Дуглас Сполдинг.

– Весь день как-то не по себе. А утром немного подташнивало.

– Господи, что же это?

Он встал, обошел вокруг журнального столика, обхватил руками ее голову и прижал лбом к своему боку, а потом посмотрел сверху вниз на безупречный пробор и вдруг заулыбался.

– Так-так, – произнес он, – не иначе как возвращается Саша.

– Саша? Это кто такой?

– Он сам расскажет, когда появится.

– Откуда такое имя?

– Понятия не имею. Весь год крутилось в голове.

– Саша. – Она прижала его ладони к своим щекам и засмеялась. – Саша!

– Завтра к доктору, – распорядился он.

– Доктор говорит, Саша пока будет жить с нами, не требуя довольствия, – сообщила она по телефону на следующий день.

– Здорово! – Тут он осекся. – Наверно. – Он прикинул сумму их накоплений. – Нет, первое слово дороже второго. Здорово! Когда же мы познакомимся с этим пришельцем?

– В октябре. Сейчас он микроскопический, крошечный, я едва различаю его голос. Но потому что у него есть имя, я его слышу. Он обещает вырасти большим, если мы окружим его заботой.

– «Мнимый больной»^{25}, честное слово! К какому сроку мне закупать морковь, шпинат, брокколи?

– На Хеллоуин.

– Не может быть!

– Правда, правда!

– Все будут болтать, что мы специально приурочили его появление к окончанию моего романа, который пьет из меня кровь. Оба требуют внимания и не дают спать по ночам.

– Ну, в этом-то Саше не будет равных! Ты счастлив?

– Честно сказать, побаиваюсь, но счастлив. Да что там говорить, конечно счастлив. Приезжайте домой, госпожа Крольчиха, и привозите *его* с собой!

Здесь необходимо пояснить, что Мэгги и Дуглас Сполдинг относились к числу неисправимых романтиков. Еще до заочного именованья Саши они, увлеченные Лорелом и Гарди, прозвали друг друга Стэном и Олли^{26}. Каждый электроприбор, коврик и штопор получил у них свое имя, не говоря уже о различных частях тела, но это держалось в секрете от посторонних.

Потому-то Саша, как сущность, как присутствие, готовое перерасти в привязанность, в этом смысле не был исключением. И когда он стал заявлять о себе по-настоящему, они ничуть не удивились. В их браке, где мериллом всех вещей была любовь, а не твердая валюта, просто не могло быть иначе.

Если когда-нибудь мы купим машину, говорили они, ей тоже будет дано имя.

Они обсудили этот вопрос, и еще сорок дюжин других, уже поздней ночью. Взхлеб рассуждая о жизни, они уселись в постели, подложив под спину подушки, словно караулили будущее, которое могло нагрянуть прямо сейчас. Они ждали, воображали, будто загипнотизированные, что молчаливый малыш произнесет свои первые слова еще до рассвета.

– Мне нравится так жить, – сказала Мэгги, вытягиваясь на кровати. – У нас все превращается в игру. Хочу, чтобы так было всегда. Ты не такой, как другие мужчины: у тех на уме только пиво да карты. Интересно, много ли есть на свете таких семей, у которых вся жизнь – игра?

– Таких больше нет. Ты помнишь?

– Что?

Он перевернулся на спину, чтобы прочертить взглядом на потолке цепочку воспоминаний.

– В тот день, когда мы поженились...

– Ну?

– Друзья подбросили нас сюда на машине, и мы пошли в аптеку на пристани, чтобы сделать крупную покупку в честь медового месяца: две зубные щетки и тюбик пасты... Одна щетка красная, другая зеленая, для украшения пустой ванной комнаты. А когда мы возвращались по берегу домой, держась за руки, позади нас две девчушки и мальчуган вдруг затянули:

Совет да любовь.
Совет да любовь.
Жениху и невесте
Совет да любовь...

Она тихонько запела. Он подтянул, вспоминая, как они зарделись от удовольствия, слыша детские голоса, но постеснялись остановиться, хотя были горды и счастливы.

– Неужели у нас был *новобрачный вид*? Как они догадались?

– Уж точно не по одежке! Может, по лицам? От улыбок у нас занемели скулы. Мы просто лопались от восторга. А их задело ударной волной.

– Славные ребяташки. До сих пор слышу их голоса.

– Прошло полтора года, а у нас все по-прежнему. – Одной рукой обняв ее за плечи, он читал их будущее на темном потолке.

– Теперь есть я, – раздался чей-то шепот.

– Кто? – спросил Дуглас.

– Я, – ответил шепот. – Саша.

Дуглас сверху следил за губами жены, но не заметил и шевеления.

– Ага, наконец-то можно поговорить? – произнес Дуглас.

– Можно, – ответил тот же голосок.

– А мы думали-гадали, – сказал Дуглас, – когда же ты дашь о себе знать. – Он мягко привлек к себе жену.

– Настал срок, – отозвался шепот, – я тут как тут.

– Здравствуй, Саша, – вырвалось у обоих.

– А почему ты раньше молчал? – поинтересовался Дуглас Сполдинг.

– Было боязно: вдруг вы мне не обрадуетесь, – прошептал голосок.

– Откуда такие мысли?

– Они возникли в самом начале, но потом ушли. Когда-то у меня было только имя. Помните, в прошлом году. Можно было уже тогда появиться. Но вы испугались.

– Мы тогда сидели на мели, – негромко сказал Дуглас – Жили в постоянном страхе.

– Разве жить страшно? – спросил Саша. У Мэгги дрогнули губы. – Страшно другое.

Не жить. Быть ненужным.

– погоди. – Дуглас Сполдинг опустил на подушку, чтобы видеть профиль жены, лежащей с закрытыми глазами, и чувствовать ее неслышное дыхание. – Мы тебя любим. Но в прошлом году был неподходящий момент. Понимаешь?

– Нет, не понимаю, – ответил шепот. – Вы меня не хотели, вот и все. А теперь захотели.

Мне тут делать нечего.

– Но ты уже здесь!

– А теперь уйду.

– Не смей, Саша! Останься с нами!

– Прощайте, – голосок совсем затих. – Все, прощайте.

Повисло молчание.

Мэгги в безмолвном ужасе открыла глаза.

– Саша пропал, – сказала она.

– Быть такого не может!

В спальне стояла тишина.

– Не может быть! – повторил он. – Это просто игра.

– Это уже не игра. О боже, как холодно. Согрей меня.

Он подвинулся ближе и привлек ее к себе.

– Все хорошо.

– Нет. У меня сейчас возникло странное чувство, будто это все взаправду.

– Так оно и есть. Он никуда не денется.

– Если мы постараемся. Помоги-ка мне.

– Помочь? – Он еще сильнее сжал объятия, потом зажмурился и позвал: – Саша?

Молчание.

– Я знаю, что ты здесь. Не прячься.

Его рука скользнула туда, где мог находиться Саша.

– Послушай-ка. Отзовись. Не пугай нас, Саша. Мы и сами не хотим бояться и тебя не хотим пугать. Мы нужны друг другу. Мы втроем – против целого мира. Саша?

Молчание.

– Ну что? – прошептал Дуглас.

Мэгги сделала вдох и выдох.

Они подождали.

– Есть?

В ночном воздухе пробежал едва ощутимый трепет, не более чем излучение.

– Есть.

– Ты здесь! – воскликнули оба.

Опять молчание.

– Вы мне рады? – спросил Саша.

– Рады! – ответили они в один голос.

Минула ночь, за ней настал день, потом опять ночь и еще один день, многие сутки выстроились длинной чередой, но самыми главными были полночные часы, когда он заявлял о себе, выражал собственное мнение; полуразличимые фразы становились все более уверенными, четкими и развернутыми, а Дуглас и Мэгги замирали в ожидании: то она шевелила губами, то он приходил ей на смену, каждый излучал тепло, искренность и превращался в живой рупор. Слабый голосок переходил с одних уст на другие, то и дело прерываясь тихим смехом, потому что все это было несуразно и в то же время любовно; ни один из них не знал, какой будет очередная Сашина фраза, – они всего лишь внимали его речам, а потом с улыбкой погружались в рассветный сон.

– Что вы там говорили про Хеллоуин? – спросил он где-то на шестом месяце.

– Про Хеллоуин? – удивились они.

– Ведь это праздник смерти? – прошептал Саша.

– Ну, в общем...

– Не слишком приятно появляться на свет в такую ночь.

– Допустим. А какая ночь для тебя предпочтительнее?

Саша какое-то время парил в молчании.

– Ночь Гая Фокса, – решил он наконец.

– Ночь Гая Фокса?!

– Ну да, фейерверки, пороховой заговор, парламент, верно? «Запомни, запомни: ноябрьской ночью...»

– По-твоему, ты сможешь так долго терпеть?

– Постараюсь. Зачем начинать свой путь среди черепов и костей? Порох мне больше по нраву. Потом можно будет об этом написать.

– Значит, ты решил стать писателем?

– Купите мне пишущую машинку и пачку бумаги.

– Чтобы ты долбил у нас над ухом и мешал спать?

– Тогда хотя бы ручку, карандаш и блокнот.

– Договорились!

На этом и порешили; между тем ночи выстроились в неделю, недели соединили лето и раннюю осень, а Сашин голос набирал силу вместе с биением сердца и мягкими толчками рук и ног. Когда Мэгги засыпала, его голос подчас будил ее, и она подносила руку к губам, которые вещали о причудливых фантазиях.

– Тихо, тихо, Саша. Отдохни. Надо спать.

– Спать, – шептал он сквозь дремоту, – спать. – И затихал.

– На ужин, пожалуйста, свиные отбивные.

– А как же соленые огурцы с мороженым? – спросили они почти в один голос.

– Свиные отбивные, – повторил он; прошла вереница других дней, занялись другие рассветы, и тогда он попросил: – Гамбургеры!

– На завтрак?

– С луком, – подтвердил он.

Октябрь простоял без движения только сутки, а там...

Хеллоин благополучно миновал.

– Спасибо, – сказал Саша, – что помогли мне перевалить за *эту* дату. А что там у нас через пять суток?

– Ночь Гая Фокса!

– То, что надо!

И через пять суток Мэгги поднялась за минуту до полуночи, дошла до ванной и вернулась в полной растерянности.

– Дорогой, – позвала она, присаживаясь на краешек постели.

Полусонный Дуглас Сполдинг повернулся на бок.

– А?

– Что у нас сегодня? – зашептал Саша.

– Гай Фокс. Наконец-то. А в чем дело?

– Мне как-то не по себе, – сказал Саша. – Нет, ничего не болит. Сил хоть отбавляй. Собираюсь в путь. Пора прощаться. Или здороваться? Как будет правильнее?

– Выкладывай, что у тебя на уме.

– Кажется, соседи предлагали обращаться к ним в любое время, если понадобится ехать в больницу?

– Предлагали.

– Звоните соседям, – сказал Саша.

Они позвонили соседям.

В больнице Дуглас поцеловал жену в лоб и прислушался.

– Здесь было неплохо, – сказал Саша.

– Для тебя – все самое лучшее.

– Нашим беседам пришел конец. Счастливо, – сказал Саша.

– Счастливо, – ответили они дуэтом.

На рассвете где-то прозвучал негромкий, но явственный крик.

Вскоре после этого Дуглас вошел в палату к жене. Встретившись с ним глазами, она произнесла:

– Саша исчез.

– Я знаю, – тихо ответил он.

– Но он распорядился, чтобы его заменил кое-кто другой. Гляди.

Когда он подошел к кровати, она откинула уголок одеяльца.

– С ума сойти.

Он увидел маленькое розовое личико и глаза, которые на мгновение полыхнули ярко-голубым и тут же закрылись.

– Кто это? – спросил он.

– Твоя дочь. Знакомься: Александра.

– Привет, Александра, – сказал он.

– Тебе известно, как сокращенно зовут Александру?

– Как?

– Саша.

Он с величайшей осторожностью коснулся круглой щеки.

– Здравствуй, Саша, – сказал он.

Опять влипли

Эти звуки возникли среди лета, среди тьмы.

Около трех часов ночи Белла Уинтерс села в постели и прислушалась, а потом снова легла. Через десять минут она услышала все тот же шум, доносившийся из мрака, от подножия холма.

Белла Уинтерс жила в Лос-Анджелесе, неподалеку от Эффи-стрит, на Вандомском холме, в квартире первого этажа; обитала она здесь всего ничего, несколько дней, поэтому все пока было ей в диковинку: этот старый дом, старая улочка, старая бетонная лестница, поднимавшаяся круто в гору от самого подножья – ровно сто двадцать ступеней. И как раз сейчас...

– Кто-то поднимается по лестнице, – заговорила Белла сама с собой.

– Что такое? – сонно переспросил ее муж Сэм.

– На лестнице мужские голоса, – сказала Белла. – Разговоры, крики, едва ли не до драки доходит. Я и прошлой ночью их слышала, и позапрошлой, но...

– Кого? – не понял Сэм.

– Ш-ш-ш, спи. Я сама посмотрю.

Она выбралась из постели, подошла к окну, не зажигая света, – и в самом деле увидела двух мужчин, которые переругивались, ворчали, кряхтели – то громко, то приглушенно. До ее слуха донеслись и другие звуки: глухие удары, стук, скрежет, будто в гору затаскивали какой-то громоздкий предмет.

– Неужели в такое время кто-то надумал переезжать? – спросила Белла, обращаясь к темноте, к оконному переплету и к себе самой.

– Это вряд ли, – пробурчал Сэм.

– А похоже...

– На что похоже? – Сэм только теперь окончательно проснулся.

– Как будто двое тащат...

– Господи помилуй, кто кого тащит?

– Двое тащат рояль. По лестнице.

– В три часа ночи?

– Двое мужчин и рояль. Ты только прислушайся.

Муж, заморгав, сел и насторожился.

В отдалении, где-то на середине склона, раздался протяжный стон, какой издают от резкого толчка рояльные струны.

– Убедился?

– Надо же, так и есть. Но кому придет в голову красть...

– Они не крадут, они доставляют по адресу.

– Рояль?

– Я тут ни при чем, Сэм. Выйди, поинтересуйся. Нет, погоди, я сама.

Кутаясь в халат, она выскочила за дверь и пошла по тротуару.

– Белла, – яростно прошипел Сэм ей вслед. – Куда тебя понесло?

– Женщина в пятьдесят пять лет, толстая и страшная, может смело гулять по ночам.

На это Сэм ничего не ответил.

Она бесшумно добралась до кромки склона. Где-то внизу – у нее не осталось сомнений – двое ворочали неподъемный груз. Временами он издавал протяжный стон и умолкал.

– Эти голоса... – прошептала Белла. – Почему-то они мне знакомы.

В непроглядной тьме она ступила на лестницу, которая мутной полосой уходила вниз, и услышала разносящийся эхом голос:

– *Опять* из-за тебя влипли.

Белла замерла. Где же, недоумевала она, я слышала этот голос, причем тысячу раз!

– Ау! – окликнула она.

Отсчитывая ступеньки, Белла двинулась вниз, но вскоре остановилась.

И никого не увидела.

Тут ее пробрал холод. Незнакомцам просто некуда было деться. Склон шел круто вниз и круто вверх, а они волокли тяжелое, громоздкое пианино, ведь так?

«С чего я взяла, что это *пианино*? – удивилась она. – Я ведь только слышала звук. Однако сомнений нет, это пианино. Причем в ящике!»

Она медленно развернулась и пошла наверх, преодолевая ступень за ступенью, медленно-медленно; голоса тут же зазвучали вновь, будто только и ждали, чтобы она убралась восвояси после того, как их спугнула.

– Ты что, спятил? – негодовал один.

– Да я хотел... – начал другой.

– На меня толкай! – закричал первый.

«А второй-то голос, – подумала Белла, – он ведь мне тоже знаком. И я даже знаю, что сейчас последует!»

– Эй, ты, – сказала ночное эхо далеко внизу, – не отлынивай!

– Так оно и есть!

Белла закрыла глаза, откашлялась и едва не упала, присаживаясь на ступеньку, чтобы отдышаться; перед ее мысленным взором проносились черно-белые картины. Почему-то ей привиделся 1929 год: она сама, еще девочкой, сидит в кино, в первом ряду, а высоко над головой мелькают светлые и темные кадры, она замирает, потом смеется, потом опять замирает и опять смеется.

Она открыла глаза. Где-то внизу перекликались все те же голоса, скрежетал груз, в ночи разносилось эхо, знакомцы выходили из себя и сталкивались шляпами-котелками.

Зелда, подумала Белла Уинтерс. Надо позвонить Зелде. Она знает все. Кто, как не она, объяснит мне, что происходит. Зелда, и никто другой!

Вернувшись в дом, она набрала З, потом Е, потом Л, Д, А и только тут сообразила, что делает не то; пришлось начать сначала. Телефон звонил очень долго, пока ей не ответил досадливый спросонья голос Зелды, жившей на полпути к центру Лос-Анджелеса.

– Зелда, это я, Белла!

– Сэм умер?

– Нет, что ты, мне прямо дурно стало...

– Ах, тебе дурно?

– Зелда, ты, наверно, решила, что я схожу с ума, но...

– Ну, сходишь с ума, а дальше что?

– Зелда, в прежние времена, когда в окрестностях Л.-А. снимали кино, натурные съемки проходили прямо здесь, в самых разных местах, так ведь? В калифорнийской Венеции, в Оушен-парке...

– Чаплин снимался именно там, и Лэнгдон, и Гарольд Ллойд^{27}.

– А Лорел и Гарди?

– Что?

– Лорел и Гарди – у них были натурные съемки?

– А как же, в Палмсе – они частенько снимались в Палмсе, и на Мейн-стрит в Калвер-Сити, и на Эффи-стрит.

– На Эффи-стрит?

– Белла, разве можно так орать?

– Ты сказала, на Эффи-стрит?

– Ну да. Помилуй, сейчас три часа ночи!
– На самом верху Эффи-стрит?
– Совершенно верно – там, где лестница. Известное место. Там еще Гарди убежал от музыкального ящика, который в конце концов его догнал и перегнал^{28}.

– Конечно, Зелда, конечно! Боже мой, Зелда, если бы ты это видела, если бы слышала то, что слышу я!

Даже у Зелды, на другом конце провода, сон как рукой сняло.

– Что происходит? Ты не шутишь?

– Господи, конечно нет! По лестнице – я только что слышала, и прошлой ночью тоже, и вроде бы позапрошлой, да и сейчас слышу – двое тащат в гору... это... пианино.

– Кто-то тебя разыгрывает.

– Нет-нет, они там. Я вышла – никого и ничего. Но эти ступеньки – как живые, Зелда! Чей-то голос говорит: «*Опять* из-за тебя влипли». Это надо слышать!

– Ты напилась и решила меня подразнить, потому что я от них без ума.

– Ничего подобного! Перестань, Зелда. Вот, слушай внимательно. Что скажешь?

Минут через тридцать Белла услышала дребезжание допотопной колымаги, притормозившей на заднем дворе. Этот драндулет Зелда купила исключительно из любви к старому кинематографу, чтобы можно было раскатывать по окрестностям, заряжаясь вдохновением для статей по истории немого кино, исключительно по истории: подъехать туда, где командовал Сесиль Демилль^{29}, исследовать владения Гарольда Ллойда, с треском и грохотом покружить по съемочным площадкам студии «Юниверсал»^{30}, отдать дань уважения оперным подмосткам из «Призрака оперы»^{31}, заказать сэндвич в открытом кафе мамы и папы Кеттл^{32}. Такова по натуре была Зелда, сотрудница журнала «Серебристый экран», своя в немом мире, в немом времени.

Она полностью заблокировала собой парадную дверь: над необъятным туловищем, которое поддерживали ноги-колонны, словно изваянные самим Бернини^{33} для собора Святого Петра в Риме, маячило луноподобное лицо.

На этой круглой физиономии сейчас в равных долях отражались подозрение, сарказм и скепсис. Но, заметив бледность и отрешенный взгляд Беллы, она только и смогла воскликнуть:

– Белла!

– Теперь ты веришь? – спросила Белла.

– Верю!

– Не кричи, Зелда. Мне и боязно, и любопытно, и жутко, и радостно. Пойдем-ка.

И подружки направились по дорожке туда, где старый склон уходил старыми ступенями вниз, в старый Голливуд, и вдруг почувствовали, как время описало вокруг них полукруг, – и вот уже на дворе стоял совсем другой год, потому что рядом ничего не изменилось, все здания остались такими же, как в тысяча девятьсот двадцать восьмом, дальние холмы выглядели совсем как в двадцать шестом, а ступени – как в двадцать первом, когда их только зацементировали.

– Прислушайся, Зелда. Вот, опять!

Зелда прислушалась, но вначале сумела разобрать только скрежет, похожий на треск сверчка, потом стон древесины и жалобы фортепьянных струн; тут один голос стал браниться по поводу этой холеры, а другой твердил, что он тут вообще ни при чем; вслед за тем по ступеням с глухим стуком поскакали шляпы-котелки, и сердитый голос бросил: «*Опять* из-за тебя влипли».

От изумления Зелда чуть не полетела кубарем вниз. Ухватившись за локоть Беллы, она всхлипнула.

- Это розыгрыш. Кто-то установил магнитофон или...
- Нет, я проверяла. Здесь только голые ступеньки, Зелда, голые ступеньки!
Пухлые щеки Зелды намокли от слез.
- Надо же, его собственный голос! Уж я-то разбираюсь, они – мои любимцы, Белла.
Это Олли. Другой голос – это Стэн. А ты, как ни странно, в здравом уме!
Голоса звучали то громче, то тише, и наконец один из них вскричал:
- Эй, ты, не отлынивай!
У Зелды вырвался стон:
- Бог мой, какое чудо!
– Что прикажешь думать? – спросила Белла. – Как их сюда занесло? Это и вправду привидения? С какой стати привидения каждую ночь лезут в гору и толкают перед собой ящик? Объясни, какой в этом смысл?
- Зелда окинула взглядом крутой склон и на мгновение прикрыла глаза, обдумывая ответ.
- А с какой стати привидения вообще куда-то лезут? Собирать дань? Вершить возмездие? Нет, наши – не таковы. Возможно, их подгоняет любовь, неразделенные чувства или что-то в этом роде. Согласна?
- Сердце Беллы отсчитало пару ударов, прежде чем она ответила:
- Может, они не слышали этих слов.
- О чем ты?
- А может, слышали много раз, да не верили, потому что в прежние годы что-то у них случилось, какая-нибудь напасть или вроде того, а когда случаются напасти, все остальное забывается.
- *Что* забывается?
- Как мы их любили.
- Им это было известно.
- Откуда? Мы, конечно, болтали друг с дружкой, но не трудились им лишний раз написать, или помахать, когда они проезжали мимо, или хотя бы крикнуть: «Мы с вами!» Как ты думаешь?
- Белла, о чем ты говоришь, они же не сходят с телеэкранов!
- Ну, это совсем другое. Теперь, когда их с нами нет, хоть кто-нибудь подошел к этим ступенькам, чтобы признаться *в открытую*? Что, если эти голоса – вернее сказать, призраки или уж не знаю кто – обитают здесь годами, каждую ночь ворочают ящик с пианино, и ни одной живой душе не приходит в голову шепотом, а то и в полный голос дать им знать, как мы их любили все эти годы. А почему, собственно?
- В самом деле, почему? – Зелда взгляделась в бескрайнюю, почти отвесную мглу, где, скорее всего, маячили тени, а меж ними, быть может, неуклюже громоздилось пианино.
- Если я права, – сказала Белла, – и если ты со мной согласна, нам остается только одно...
- Нам с тобой?
- Ну да, кому же еще? Тише. Пойдем-ка.
- Они сошли на ступеньку ниже. В тот же миг тут и там начали вспыхивать окна. Где-то раздвинули входную решетку и негодуяще закричали в ночь:
- Безобразия!
- Что там за грохот?
- Вам известно, который час?
- Господи, – зашептала Белла, – теперь их слышали *все без исключения!*
- Этого еще не хватало! – Зелда стала озираться по сторонам. – Так можно все испортить!
- А вот я сейчас полицию вызову! – Наверху яростно хлопнула оконная рама.

– Ох, – выдохнула Белла, – не дай бог, нагрянет полиция...

– Ну и что?

– Все пойдет насмарку. Если кто и должен им сказать, чтобы они передохнули и не шумели, так это мы с тобой. Мы их не обидим, верно?

– Само собой разумеется, но...

– Никаких «но». Держись за меня. Идем.

Внизу все так же переговаривались два голоса, пианино заходило в икоте; подруги осторожно спустились на ступеньку ниже, потом еще на одну, у них пересохло во рту, сердца колотились как бешеные, а непроглядная тьма пропускала лишь слабый свет фонаря у подножия лестницы, но он был так далеко, что загустил в одиночестве, дожидаясь, пока заплывут тени.

Окна хлопали одно за другим, скрежетали дверные решетки. Того и гляди, сверху могла обрушиться лавина досады, протестующих криков, а то и выстрелов, готовая безвозвратно смести все и вся.

С этой мыслью подруги крепко обнялись, но обеих так зазнобило, что, казалось, каждая решила вытрясти из другой нужные слова в противовес чужому гневу.

– Зелда, не молчи, скажи им хоть что-нибудь.

– Что тут скажешь?

– Да что угодно! Они обидятся, если мы не...

– Они?

– Ты знаешь, о ком я. Надо их поддержать.

– Ладно, будь по-твоему. – Зелда опустила веки и замерла, подбирая слова, а потом выговорила: – Привет.

– Громче.

– Привет, – окликнула она, сначала тихонько, потом чуть громче.

Под ними впотьмах зашуршали тени. Один голос сделался решительнее, второй увял, а пианино затренькало на арфе своих невидимых струн.

– Не бойтесь, – продолжила Зелда.

– Умница. Давай дальше.

– Не бойтесь, – осмелев, повторила Зелда. – Не слушайте этих крикунов. Мы вас не дадим в обиду. Это же мы! Я – Зелда, только вряд ли вы меня помните, а это Белла, мы вас знаем тыщу лет, с раннего детства, и всегда вас любили. Время ушло, но мы решили вам сказать. Мы полюбили вас, когда впервые увидели в пустыне, а может, на корабле с привидениями, или когда вы торговали вразнос рождественскими елками, или в автомобильной пробке, когда вы отдирали у машин фары, – и любим вас по сей день, верно я говорю, Белла?

Мрак выжидал, притаившись внизу.

Зелда ткнула Беллу в плечо.

– Да, верно! – воскликнула Белла. – Она говорит как есть! Мы вас любим.

– Просто сейчас ничего больше в голову не приходит.

– Но ведь и этого достаточно, да? – Белла взволнованно подалась вперед. – Правда, достаточно?

Ночной ветерок шевелил траву и листья по обеим сторонам лестницы, а тени, застывшие было внизу, по бокам заколоченного ящика, теперь смотрели наверх, на двух женщин, которые почему-то расплакались. Первой не выдержала Белла, но когда Зелда это почувствовала, у нее тоже покатились слезы.

– Так вот. – Зелда сама удивилась, что не утратила дара речи, но продолжила наперекор всему: – Мы хотим, чтоб вы знали: вам нет нужды сюда возвращаться. Нет нужды карабкаться в гору и ждать. Вот что мы хотим сказать, понимаете? Чтобы услышать такие слова на этом самом месте, вы и приходили сюда по ночам, и взбирались по лестнице, и втаскивали

наверх пианино, в том-то все и дело, других причин нет, правильно? Наконец-то мы с вами встретились: теперь все сказано напрямик. Спокойно отправляйтесь на отдых, друзья мои.

– Счастливо тебе, Олли, – добавила Белла грустным-грустным шепотом. – И тебе, Стэн, Стэнли.

Прячась в темноте, пианино негромко помурлыкало струнами, скрипнуло старой древесиной.

И тут произошло самое невероятное. Во тьме раздались чьи-то вопли, деревянный ящик загрохотал по склону, пересчитывая ступеньки и отмечая аккордом каждый удар; он кувырчался и набирал скорость, а впереди неслись сломя голову два неясных силуэта: они удирали от взбесившегося музыкального зверя, голосили, спотыкались, орали, проклинали судьбу, взывали к небесным силам, а сами катились ниже и ниже, оставляя позади четвертый, шестой, восьмой, десятый десяток ступеней.

Тем временем на середине лестницы, в ночи, прислушиваясь, ловя каждое движение, вскрикивая, обливаясь слезами и хохоча, поддерживали друг дружку две женщины, у которых перехватывало дыхание, когда они пытались разглядеть – и почти верили, что разглядели, – как три очертания скатывались по ступенькам, как улепетывали два силуэта, толстый и тонкий, как пианино с ревом прыгало за ними по пятам, не разбирая дороги, как внизу, на тротуаре, одинокий фонарь внезапно погас, будто сраженный, а тени кувырком полетели дальше, спасаясь от хищных зубов-клавиш.

А подружки, оставшись вдвоем, смотрели вслед и смеялись до упаду, чтобы потом залиться слезами, и рыдали, чтобы потом рассмеяться, но вдруг лицо Зелды исказилось от испуга, словно рядом прогремел выстрел.

– Что я наделала! – закричала она в панике, ринувшись вперед. – Подождите, я не то сказала, мы не хотели... не исчезайте! Просто удалитесь, чтобы соседи могли выспаться. Но раз в год... слышите? Раз в год, ночью, ровно через двенадцать месяцев и потом каждый год, непременно возвращайтесь сюда, договорились? И не забудьте свой ящик, а уж мы с Беллой – подтверди, Белла! – встретим вас на этом самом месте.

– Во что бы то ни стало!

Ответом было долгое молчание над ступенями, нисходящими в черно-белый немой Лос-Анджелес.

– Как по-твоему, они услышали?

Подруги обратились в слух.

И тут далеко внизу прозвучал едва слышный хлопок, будто очнулось старинное авто, а потом промелькнула какая-то причудливая музыкальная фраза, слышанная в детстве на дневном сеансе. Но и она тут же смолкла.

Через некоторое время они побрели вверх по лестнице, вытирая слезы бумажными носовыми платками. Потом обернулись, чтобы напоследок взглянуть в темноту.

– Знаешь, что я тебе скажу? – произнесла Зелда. – По-моему, они услышали.

Электрический стул

Она ждала, пока он завяжет ей глаза шелковой повязкой, но, затягивая узел, он так резко дернул концы платка, что она даже охнула.

– Полегче, Джонни, черт бы тебя побрал, ослабь повязку, а то у меня ничего не выйдет!

– Как скажешь, – легко согласился он, обдав ее резким запахом своего дыхания; между тем зрители уже толпились за канатами ограждения, вечерний бриз теребил купол шатра, а издали доносились призывные звуки шарманки и барабанная дробь.

Сквозь черный шелк она смутно различала мужчин, мальчишек, а кое-где и женщин: зрителей собралось предостаточно, они выложили по десять центов каждый и теперь жаждали увидеть ее пристегнутой к электрическому стулу, с электродами на шее и запястьях.

– Ну вот, – прошептал Джонни, почти невидимый из-за этой повязки. – Так хорошо?

Она не ответила, но пальцы сами собой впились в деревянные подлокотники. В предплечьях и на шее она ощутила биение пульса. За пологом шатра зазывала лез вон из кожи: он надсадно кричал в короткий рупор из папье-маше и лупил тростью по транспаранту, где дрожал на ветру портрет Электры, сидящей в кресле смерти, будто перед обычным чаепитием: соломенные волосы, пронзительные голубые глаза, резко очерченный подбородок.

Когда ее на время ослеплял черный шелк, легче думалось о прошлом, о чем угодно...

Ярмарка переезжала в очередной городок и вскоре опять снималась с места; бурые шатры днем делали глубокий вдох, а ночью выдыхали спертый воздух, когда брезент, шурша, соскальзывал с темных шестов. Что же дальше?

В минувший понедельник этот парень с длинными руками и пытливым раскрасневшимся лицом купил сразу три билета на их вечерние выступления и три раза подряд смотрел, как электрический ток пробивает Электру голубым пламенем; парень стоял прямо у каната и, напружинившись, ловил каждое ее движение, а она, из огня и бледной плоти, вышала над ним, сидя на помосте.

Он приходил четыре дня кряду.

– У тебя тут своя публика, Элли, – заметил Джонни на третий вечер.

– Да уж, – отозвалась она.

– Ты, главное дело, не бери в голову, – посоветовал Джонни.

– Ни-ни, – ответила она. – Мне-то что? Не волнуйся.

Как-никак, этот номер она исполняла не первый год. Джонни врубал напряжение, и оно пронизывало ее от лодыжек и до локтей, до самых ушей, тогда он протягивал ей сверкающий меч, она не глядя делала выпад в сторону зрителей, улыбаясь из-под своей полумаски, и людям на плечи и головы сыпались трескучие, плюющиеся искры. На четвертый день она ткнула мечом дальше обычного, в том направлении, где впереди всех стоял, потев от волнения, тот румяный парень. Он резко вскинул руку, словно приготовился поймать лезвие. Голубые искры мостиком устремились к его ладони, но рука не дрогнула и не отстранилась; он схватил огонь пальцами, а потом зажал в кулак и пропустил по запястью, через предплечье внутрь себя.

При свете клинка его глаза вспыхнули синим спиртовым пламенем, а меч своим собственным огнем осветил ее руку, лицо и грудь. Навалившись на канат, парень в молчаливом напряжении потянулся еще дальше. Тогда Джонни закричал: «А ну-ка, все прикоснитесь! Все до единого!» Тогда Электра поводила мечом по воздуху, чтобы каждый мог прикоснуться к лезвию и погладить его рукой; Джонни выругался. Сквозь повязку она заметила жуткое свечение, которое не сходило с румяного лица.

На пятый вечер она не стала касаться пальцев этого парня, а вместо этого щекотала горящим острием его ладонь, царапала и обжигала, пока он не зажмурился.

В ту ночь, закончив выступление, она отправилась на озерную пристань и, даже не оглянувшись, прислушалась и заулыбалась. Озеро дрожало там, где в него впивались опоры. Ярмарочные огни испещрили черную воду неверными, извилистыми дорожками. Под приглушенные вопли колесо обозрения без усталости взмывало вверх, а вдали шарманка с надрывом пела «Прекрасный Огайо». Электра замедлила шаги. Она не спеша поставила вперед правую ногу, затем левую и уж только потом остановилась, чтобы обернуться. Рядом мелькнула его тень, и руки заключили ее в объятия. Прошло много времени, прежде чем она слегка отстранилась, разглядела его неомраченное, взволнованное, розовощекое лицо и сказала:

– Да ты, я вижу, опаснее электрического стула!

– А тебя и вправду зовут Электрой? – спросил он.

На следующий вечер, когда сквозь нее побежал ток, она напряглась, вздрогнула и, прикусив губу, застонала. Ноги заходили ходуном, а руки, нащупав подлокотники, стали царапать древесину.

– Что такое? – выкрикнул Джонни, отделенный шелковой повязкой. – В чем дело?

И отключил напряжение.

– Все нормально, – выдохнула она.

Зрители забеспокоились.

– Ничего страшного. Работаем. Давай!

И он дернул рубильник.

Сквозь нее пополз огонь, но она снова, стиснув зубы, откинулась на высокую спинку. Из темноты вырвалось чье-то лицо, а вместе с ним туловище, которое прижалось к ней. Напряжение разразилось треском. Электрический стул остановился, а потом и вовсе умер.

Через миллион миль темноты Джонни протянул ей меч. Ее вялая подрагивающая рука не смогла его удержать. Джонни сделал вторую попытку, и она машинально ткнула клинком глубоко в ночь.

Там, в ревущей темноте, кто-то тронул лезвие. Она представила, как вспыхнули его глаза, как раскрылись губы, когда их разомкнуло напряжением. Его прижало к канату, с силой прижало к канату, он не мог ни вздохнуть, ни закричать, ни отстраниться!

Подача энергии прекратилась. Остался запах молнии.

– Конец! – крикнули из публики.

Джонни предоставил ей выбирать из кожаных ремней, спрыгнул с невысокой сцены и пошел к проходу. Непослушными руками она судорожно освободилась от пут. Выскочив из шатра, она даже не оглянулась посмотреть, остался ли тот парень висеть на канатах.

Добравшись до трейлера, стоящего за шатром, она рухнула на койку, дрожа и обливаясь потом; даже когда следом вошел Джонни и остановился, глядя на нее сверху вниз, она не смогла сдержать рыданий.

– Ну что скажешь? – спросил он.

– Ничего, ничего, Джонни.

– Что ты послала в публику?

– Ничего, ничего.

– «Ничего, ничего», – передразнил он. – Ладно врать! – Его лицо исказила гримаса. – Чертова кукла! Сто лет таких штук не выкидывала!

– Это нервы!

– Горбатого могила исправит, – не унимался он. – Когда мы только-только поженились, ты такой же номер отмочила. Думаешь, я забыл? Три года торчала на своем стуле, как в гостях. И вот – здасьте! – кричал он, задыхаясь и нависая над ней со сжатыми кулаками. – Сегодня опять, будь ты неладна...

– Умоляю тебя, умоляю, Джонни. У меня нервы сдали.

– Ты что себе надумала? – Он угрожающе склонился прямо над ней. – Что надумала?

– Ничего, Джонни, ничего. – Он схватил ее за волосы. – Умоляю!

Он швырнул ее головой в подушку, развернулся и пошел прочь, но за дверью остановился.

– Я знаю, что ты надумала, – сказал он. – Знаю. – И звук его шагов замер в отдалении. И была ночь, и был день, и был еще один вечер и новые зрители.

Но в публике она так и не высмотрела *его* лица. Теперь, погрузившись в черноту, с повязкой, плотно обхватившей голову, она сидела на электрическом стуле и не теряла надежды, пока Джонни на соседнем помосте расписывал публике чудеса, на которые способен Человек-Скелет; а она все еще надеялась и разглядывала каждого вновь прибывшего. Джонни расхаживал вокруг Человека-Скелета, пыжился и распинался про живой череп и зловещие кости, и наконец зрители стали проявлять нетерпение и, повинуясь голосу Джонни, гремевшему, как ржавая труба, развернулись в другую сторону, а сам он запрыгнул на помост – да с таким свирепым видом, что она невольно отшатнулась и увлажнила красные губы.

И вот теперь узел повязки затягивался все туже и туже, а Джонни шептал ей в ухо:

– Соскучилась по нему?

Она промолчала, но не склонила головы. Зрители переминались с ноги на ногу, как скотина в стойле.

– Нету его, – шипел он, подключая электроды к ее рукам. Она не ответила. Он не успокаивался. – Больше он сюда не сунется. – Она задрожала, когда он нахлобучил ей на волосы круглую черную шапочку. – Боишься? – спросил он вполголоса. – А чего бояться? – Он застегнул ремешки у нее на щиколотках. – Ты не бойся. Электричество – штука хорошая, чистая. – У нее перехватило дыхание. Он выпрямился. – Я ему кое-что объяснил, – тихо сказал он, проверяя повязку. – Врезал так, что у него зубы вылетели. А потом шархнул об стенку и еще добавил... – Не закончив, он выпрямился и закричал во все горло: – Дамы и господа, смертельный номер! Впервые в истории циркового искусства! Перед вами – электрический стул, точная копия того, что установлен в центральной тюрьме штата. Успешно используется для наказания *преступников!* – При этом слове она поникла, царапая ногтями древесину, а он продолжал: – У вас на глазах эта красавица примет казнь на электрическом стуле!

Зрители заволновались, а она подумала, что стоящий под сценой обычный трансформатор напряжения Джонни вполне мог переделать в трансформатор тока. Случайность, роковая случайность. Прискорбно. Большой ток, а не высокое напряжение.

Она высвободила правую руку из-под кожаного ремня и услышала, как сработал переключатель; когда ее охватило голубым огнем, она вскрикнула.

Зрители хлопали, свистели и топали ногами. Ах, как хорошо, мелькнула у нее неистовая мысль, ведь это смерть? Вот и славно! Аплодируйте! Кричите «браво»!

Из черной бездны выпало беспомощное тело. «Врезал так, что у него зубы вылетели!» Тело содрогнулось. «А потом еще добавил!» Тело рухнуло, было поднято и снова рухнуло. Она кричала пронзительно и долго, словно терзаемая миллионом невидимых жал. Голубое пламя добралось до ее сердца. Молодое мужское тело скорчилось и взорвалось шрапнелью костей, огня и пепла.

Джонни невозмутимо подал ей меч искомандовал:

– Давай.

Ничего не случилось, и это ее потрясло, как вероломный удар.

Она зарыдала, не чувствуя в руках меча, трепеща и дрожа, не в силах управлять своими движениями. Энергия гудела, зрители тянули руки – паучьи лапы, птичьи когти, – отпрыгивая, когда меч начинал шипеть и плевать.

Ярмарочные фонари гасли один за другим, а в ее костях все еще бурлила энергия.

Щелк. Рубильник улегся в положение «выкл.».

Она ушла в себя, с носа и обмякших губ потекли струйки пота. Задыхаясь, она с трудом сорвала черную повязку.

Зеваки уже толпились у другого помоста и глазели на другое чудо: их поманила Женщина-Гора и они повиновались.

Джонни держался за рубильник. Потом опустил руки и стал буравить ее темным, холодным, немигающим взглядом.

Пыльные, тусклые, засиженные мухами лампочки освещали шатер. Перед ее слепыми глазами маячили отхлынувшие зрители, Джонни, все тот же шатер, все те же лампочки. Она словно усохла, пока сидела на стуле. Половину соков по электрическим проводам унесло в утробы медных кабелей, провисающих над городом от столба до столба. Голова словно налилась свинцом. Чистый свет только что снизошел сюда, пронзил ее насквозь и снова вырвался на свободу, но это был уже совсем другой свет. Она сделала его другим, теперь она поняла, почему так получилось. И задрожала, потому что пламя потеряло цвет.

Джонни раскрыл рот. Вначале она ничего не слышала. Ему пришлось повторить.

– Считай, ты умерла, – бросил он. И еще раз: – Ты умерла.

Придавленная силками кожаных ремней к электрическому стулу, открытая порывам ветра, которые залетали под полог шатра и утирали влагу с ее лица, пронзенная мраком сверлящих глаз, она сказала то единственное, что только и было возможно:

– Да. – Она закрыла глаза. – Так и есть. Я умерла.

Прыг-скок

Винию разбудил заячий бег по необъятной лунной долине, но на самом деле это было приглушенное и частое биение ее сердца. Она с минуту полежала, пока не восстановилось дыхание. Теперь бег слышался не столь явственно, а потом и вовсе растаял где-то далеко-далеко. Она села на кровати, посмотрела вниз со второго этажа, из окна своей спальни, и там, на длинном тротуаре, в слабом свете луны разглядела те самые «классики».

Накануне вечером кто-то из ребят начертил их мелом – длиннющие, без конца и края, квадрат за квадратом, линия за линией, цифра за цифрой. Граница терялась где-то вдали. Они тянулись неровными лоскутами, 3, 4, 5 и так до 10, потом 30, 50, 90 – да еще не раз сворачивали за угол. Не «классики», а целые «классы»! По таким можно прыгать целую вечность, хоть до горизонта.

Так вот, в то непостижимо раннее, непостижимо тихое утро взгляд ее побежал, поскакал, помедлил – и снова запрыгал по щербатым меловым ступенькам этой своенравной лестницы, а до слуха донесся собственный шепот:

– Шестнадцать.

Но дальше она уже не побежала.

Впереди – это точно – дожидался следующий квадрат, небрежно помеченный голубым номером 17, но ее разум, широко раскинув руки, балансировал и удерживал равновесие, прочно став одной занемевшей ногой между единицей и шестеркой – и ни туда ни сюда.

Задрожав, она снова опустилась на подушку.

Всю ночь в спальне было прохладно, будто в роднике, а она, как белый камешек, лежала на дне; ей нравилось это чувство – приятно было плыть сквозь темную, но прозрачную стихию из снов и яви. Она осязала, как из ноздрей толчками вырывается дыхание, и вдобавок, закрывая и открывая глаза, раз за разом ощущала широкие взмахи ресниц. Но потом из-за холмов выглянуло солнце, и с его появлением – она это явственно чувствовала – всю спальню затрясло как в лихорадке.

Утро, сказала она про себя. Наверно, день будет особенный. Как-никак, мой день рождения. В такой день может произойти все, что угодно. И надеюсь, произойдет.

Движение воздуха, словно дыхание лета, тронуло белые занавески.

– Виния!..

Ее звал чей-то голос. Впрочем, откуда было взяться голосу? И все же – Виния приподнялась на локте – он зазвучал опять:

– Виния!..

Она, выскользнув из постели, подбежала к высокому окну своей спальни.

Внизу, на свежей траве, стоял Джеймс Конвэй, ее ровесник, семнадцати лет от роду; он-то и звал ее в этот ранний час, а когда в окне появилось ее лицо, со значением улыбнулся и замахал рукой.

– Джим, ты что тут делаешь? – спросила она, а сама подумала: известно ли ему, *какой* сегодня день?

– Да я уж час как на ногах. Решил выбраться за город, – ответил он, – на весь день, вот и собрался пораньше. Не хочешь присоединиться?

– Ой, наверно, не получится... мои вернутся поздно, я дома одна, мне нужно...

Она увидела зеленый холмистый простор, дороги, уходящие в лето, в август, и реки, и предместья, и этот дом, и эту комнату, и это мгновение.

– Я не смогу... – слабо проговорила она.

– Не слышу! – улыбчиво запротестовал Джеймс, приложив ладонь козырьком.

– А почему ты позвал меня – других, что ли, не нашлось?

Ему пришлось чуток поразмыслить.

– Сам не знаю, – признался он. Подумал еще немного и послал ей приветливый и теплый взгляд. – Потому что потому. Вот и все.

– Сейчас выйду, – сказала она.

– Эй! – окликнул он.

Но в окне уже никого не было.

Они стояли посреди безупречной лужайки. Изумрудную гладь нарушили две цепочки шагов: одна, что полегче, торопливо пробежала тонкой строчкой, а другая, что потяжелее, прошагала неспешно, размашисто, навстречу первой. Городок молчал, как забытые часы. Все ставни еще были закрыты.

– Ничего себе, – сказала Виния. – В такую рань. С ума сойти как рано. Уж не помню, когда я просыпалась в такое время. Слышно, как люди спят.

Они прислушались к листве деревьев и белизне стен; в этот рассветный час, в этот час шепотов, мышцы-полевки устраивались на ночлег, а цветы готовились разжимать яркие кулачки.

– В какую сторону пойдём?

– Как скажешь.

Виния зажмурилась, покрутилась на месте и ткнула пальцем наугад:

– Куда я сейчас показываю?

– На север.

Она открыла глаза.

– Стало быть, пойдём из города на север. Только оно не к добру.

– Почему это?

И они зашагали из города; между тем солнце уже поднималось над холмами, а лужайки пуше прежнего горели изумрудным огнем.

В воздухе пахло горячим шоссе с белой разметкой, и пылью, и небом, и виноградными водами проворной речки. Над головой округлился свежий лимон солнца. Впереди маячил лес, где жили тени, словно под каждое дерево слетелся миллион трепетных птиц, но на самом деле это подрагивали пятнышки от листьев, не пропускавших света. К полудню Виния и Джеймс Конвэй оставили позади обширные луга, что крахмально и туго пружинили под ногами. День нагрелся, как нагревается на солнцепеке чай со льдом в запотевшем стакане.

Они сорвали гроздь винограда с шершавой дикой лозы. Посмотришь на ягоду против солнца – в ней отчетливо проступают виноградные мысли, погруженные в густо-янтарную мякоть, горячие семена раздумий, накопившиеся у лозы за долгие послеполуденные часы одиночества и созерцания. У виноградин был привкус чистой родниковой воды и чего-то еще, принесенного утренней росой и вечерними дождями. Живая плоть апреля, согретая августом, приготовилась отдать свой нехитрый клад первому встречному. А урок отсюда таков: сиди на солнце, склонив голову, под сенью колючей лозы, хоть в мерцании света, хоть в прямых лучах, и вселенная придет к тебе сама. Дай срок – явится небо и подарит дождь, а земля поднимется и войдет в тебя, чтобы напитать изобилием и богатством.

– Съешь виноградину, – сказал Джеймс Конвэй. – Бери *сразу две*.

С набитыми ртами они жевали мякоть, истекающую соком.

Усевшись на берегу, они скинули обувь и не струсили, когда речная вода заточенным ледяным клинком отсекла им ступни по самую лодыжку.

«Ноги пропали!» – подумала Виния. Но, опустив глаза, увидела, что ноги никуда не делись, просто ушли без спросу на дно и сразу освоились в земноводном царстве.

На обед были ломти хлеба с яичницей, которые Джим прихватил из дому в бумажном пакете.

– Виния, – заговорил Джим, примеряясь к сэндвичу, прежде чем откусить первый кусок, – можно тебя поцеловать?

– Не знаю, – сказала она. – Я как-то об этом не думала.

– А ты подумай, – попросил он.

– Разве мы для того пошли гулять, чтоб ты ко мне приставал с поцелуями? – резко спросила она.

– Да я что? Денек такой классный! Зачем его портить. Но если ты надумаешь поцеловаться – скажи, ладно?

– Скажу, – пообещала она, принимаясь за второй сэндвич. – Если надумаю.

Дождь обрушился как неожиданная весть. Он принес запахи газировки, лайма, апельсина и чистой, самой свежей речки на всем белом свете, которая бурлила талой водой, падавшей с высокого пересохшего неба.

Сначала в вышине возникло какое-то движение, словно шевельнулся тонкий покров. Тучи мягко обволакивали друг дружку. Слабый ветерок тронул волосы Винии и, вздыхая, утер влагу с ее верхней губы, а когда они с Джимом бросились наутек, дождевые капли добрались до них не сразу, но потом все же настигли и холодными колотушками погнали через замшелый бурелом, между неохватными деревьями в самую чащу, в пряную сердцевину урочища. Лес встрепенулся, влажно зашептал над головой, каждый лист зазвенел и расцветился под дождевыми струями.

– Сюда! – выкрикнул Джим.

И они юркнули в огромное дупло, которое приняло их обоих, чтобы спрятать от дождя в тепло и уют. Они стояли обнявшись, все еще дрожа от холода, и смеялись, потому что у каждого с носа и щек сбегали дождевые капли.

– Эй! – Он лизнул ее лоб. – Дай-ка попить водички!

– Джим!

Они ловили звуки дождя: падающая вода отмывала вселенную до атласной чистоты, шептались высокие травы, пробуждались сладковатые запахи мокрой древесины и слежавшихся прелых листьев столетней давности.

Потом до слуха донесся еще один звук. Где-то наверху, в теплом сумраке дупла, раздавался ровный гул: словно где-то вдалеке хозяйка печет сладкие пироги, заливает глазурью, украшает цукатами, посыпает сахарной пудрой – в общем, можно было подумать, что в натопленной, неярко освещенной кухне под шум летнего дождя хозяйка готовит обильные яства и умиротворенно мурлычет песенку, не размыкая губ.

– Пчелы, Джим, гляди, пчелы!

– Тихо!

Во влажной темной воронке дупла мельтешили желтые точки. Запоздалые промокшие пчелы спешили домой с облюбованных полей, лугов или пастбищ и, проносясь мимо Винии с Джимом, взмывали в темную пустоту, хранящую жар лета.

– Они не тронут. Главное – не шевелись.

Джим покрепче сжал объятия; Виния тоже. Она чувствовала на лице его дыхание, смешанное с запахом терпкого винограда. Чем настойчивее барабанил по стволу дождь, тем крепче они обнимали друг друга, заходясь от хохота, но в конце концов их смех растаял в жужжании пчел, вернувшихся с дальних лугов. И тогда Винии подумалось, что на них в любой момент может обрушиться лавина меда, которая накроет их с головой, запечатает внутри этого дерева, как в заветном куске янтаря, а потом, через тысячу лет, когда снаружи

отгремят, отшумят, отцветут стихии веков, случайному путнику повезет найти эту застывшую картину.

Внутри было так тепло, так спокойно, вселенная перестала существовать, оставались только бессловесность дождя да еще лесная полутьма этого дня.

– Виния, – прошептал, немного повременив, Джим. – Теперь-то можно?

Его лицо сделалось очень большим, оно оказалось так близко, что заслонило все лица, которые встречались ей прежде.

– Теперь можно, – ответила она.

Он поцеловал ее.

Дождь буйствовал целую минуту, снаружи холодало, а внутри ютилось укромное древесное тепло.

Поцелуй оказался очень нежным. Он был добрым, приятно теплым, а на вкус – как абрикос и свежее яблоко, как вода, которую, проснувшись от жажды, глотаешь среди ночи, только для этого нужно пробраться в темную летнюю кухню, чтобы там, в тепле, напиться прямо из прохладного жестяного ковшика. Прежде она и вообразить не могла, что поцелуй бывает таким приятным, и безгранично ласковым, и бережным. Теперь Джим обнимал ее совсем не так, как минуту назад, когда защищал от зеленого лесного ненастья; теперь он прижимал ее к груди, как фарфоровые часы, с осторожностью и заботой. Его глаза были закрыты, а ресницы блестели темной влагой; она успела это заметить, когда сама на мгновение открыла глаза, чтобы тут же смежить веки.

Дождь присмирел.

В этот миг на них обрушилась новая тишина, подтолкнувшая к осознанию перемен за пределами их мира. Теперь там не было ничего, кроме присмиривших струй, запутавшихся в неводе лесных ветвей. Туча двинулась прочь, оставляя на синем небосклоне большие рваные заплатки.

Эти перемены повергли Винию с Джимом в некоторое смятение. Они ждали, что дождь вот-вот польет с новой силой и тогда им поневоле придется застрять в этом дупле еще на минуту, еще на час. Но тут выглянуло солнце, осветило все вокруг ярким светом и вернуло к обыденности.

Медленно выбравшись из дупла, они постояли, раскинув руки, будто старались сохранить равновесие, а потом стали искать дорогу из этого леса, где вода на глазах испарялась с каждой ветки, с каждого листа.

– Ладно, пора двигаться, – сказала Виния. – Нам туда.

Дорога вела в сторону послеполуденного лета.

В городок они вернулись уже на закате и, взявшись за руки, прошли сквозь последний свет теплого дня. На обратном пути они почти не разговаривали и теперь, раз за разом сворачивая с одной улицы на другую, разглядывали тротуар, тянувшийся под ногами.

– Виния, – проговорил он наконец, – тебе не кажется, что это начало?

– Скажешь тоже, Джим!

– А может, у нас любовь?

– Откуда я знаю?

Они спустились в овраг, перешли через мостки, поднялись на другой берег и оказались на ее улице.

– Как по-твоему, мы с тобой поженимся?

– Рано загадывать, – отозвалась она.

– Да, верно. – Он прикусил губу. – А гулять еще пойдем?

– Не знаю. Посмотрим. Там видно будет, Джим.

Судя по неосвещенным окнам, дома по-прежнему никого не было. Постояв на крыльце, они с серьезным видом пожали друг другу руки.

– Спасибо тебе, Джим, денек был чудный, – сказала она.

– Не за что, – ответил он.

Они постояли еще немного.

Потом он повернулся, сошел по ступенькам и пересек темную лужайку. На дальней кромке остановился и сказал из темноты:

– Спокойной ночи.

Он побежал и уже почти скрылся из виду, когда она в ответ тоже сказала: «Спокойной ночи».

В ночной час ее разбудил какой-то шелест.

Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Родители уже вернулись, заперли окна-двери, но что-то здесь было не так. Нет, ей слышались ни на что не похожие звуки. Лежа у себя в спальне, глядя в летнюю ночь, которая совсем недавно была летним днем, она вновь услышала все тот же шорох, и оказалось, это зов гулкого тепла, и мокрой коры, и старого дуплистого дерева, вокруг которого дождь, а внутри – уют и тайна, и вдобавок это жужжание пчел, которые, возвращаясь с далеких лугов, взмывают под своды лета, в неведомую тьму.

И этот шелест – до нее дошло, когда она подняла руку, чтобы найти его на ощупь в летней ночи, – слетал с ее сонных, полураскрытых в улыбке губ.

Ее словно подбросило и тихо-тихо поманило вниз по лестнице, за дверь, на крыльцо и через лужайку – на тротуар, где неровные «классы» меловой дорожкой уходили в будущее.

Босые ноги запрыгали по первым цифрам, оставляя влажные следы на каждой клетке, вплоть до 10 и 12, зашлепали дальше, остановились на 16, помедлили у 17, оступились и в нерешительности замерли. Потом она стиснула зубы, сжала кулаки, попятилась и...

Прыгнула в самую середину квадрата под номером 17.

Немного постояла с закрытыми глазами, чтобы испытать, каково оно там.

Потом взлетела по лестнице, нырнула в кровать и поднесла ко рту ладонь, проверяя, не ушло ли дыхание послеполуденного лета, слетает ли с губ сонный шелест – знакомый золотистый гул: да, оказалось, все в порядке.

В скором времени под эту колыбельную к ней пришел сон.

Финнеган

Сказать, что я никогда не забуду историю с Финнеганом, – значит непростительно принизить значение событий, которые окончились столь печально. Только теперь, на восьмом десятке, я нашел в себе силы описать этот случай в расчете на какого-нибудь добросовестного полицейского, который, полагаю, тут же помчится в лес с заступом и вилами, чтобы откопать мою истину или похоронить ложь.

Факты таковы.

В разное время трое ребятишек убежали гулять и не вернулись. Их тела были обнаружены в дебрях Чатэмского леса без признаков насильственной смерти, однако все они были полностью обескровлены, словно виноград, сморщившийся на лозе в жаркое, засушливое лето.

Эти иссохшие останки невинных жертв породили бесчисленные слухи о вампирах и прочей кровожадной нечисти. Такие вымыслы всегда идут по пятам за реальными событиями. Кто, как не кладбищенский оборотень, говорили люди, обескровил и загубил троих, да, верно, и обрек на смерть три десятка других.

Детей похоронили на самом лучшем, освященном месте. Вскоре после этого сэр Роберт Мерриуэзер, достойный лавров Шерлока Холмса, но из скромности молчавший о своем таланте, миновал сто двадцать дверей родового замка и отправился на поиски мерзкого душегуба. Позвав с собою, добавим, вашего покорного слугу, чтобы нести фляжку и зонт, а также предупреждать об опасностях, которые в темном, недобром лесу могли таиться под каждым кустом.

Сэр Роберт Мерриуэзер, усомнитесь вы?

Именно он. И самых невероятных дверей в его уединенном замке насчитывалось десять десятков да еще дюжина.

Неужто хозяину служили все двери без исключения? Нет, от силы каждая девятая. Откуда же они взялись в старинном жилище сэра Роберта? Да он их коллекционировал – выписывал из Рио, Парижа, Рима, Токио и Центральной Америки. Когда приходил очередной экспонат, его тут же заносили в нижние или верхние покои, причем крепили на петлях прямо к стене, чтобы створки хорошо просматривались с обеих сторон. Потом хозяин устраивал экскурсии, демонстрируя старинные порталы завзятым любителям антиквариата, которых приводили в восторг и затейливые излишества, и суровая простота, и рококо, и образчики раннего ампира, выброшенные на свалку племянниками Наполеона или изъятые у Германа Геринга, некогда погрешавшего руки в Лувре. Везли сюда в плоских деревянных ящиках и экспонаты совсем иного рода, протравленные песчаными бурями Оклахомы, оклеенные афишами ярмарок, похороненных ураганами 1936 года. Стоило только упомянуть, что бывают двери, которые вам совершенно не по вкусу, – они оказывались тут как тут. Стоило назвать самое отменное качество – в коллекции находилась дверь именно такой марки, надежно спрятанная от посторонних глаз, настоящая красавица за стенами забвения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.